

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

ОТЧАЯНИЕ

Владимир Набоков. Отчаяние

Текст подготовлен для некоммерческого распространения Сергеем Виницким по репринтному изданию: Ardis, 1978. Оригинальное издание: “Петрополис”, Берлин, 1936. Т_ЕХ-верстка: Е.М. Варфоломеев, <http://www.varf.ru>

ГЛАВА I

Если бы я не был совершенно уверен в своей писательской силе, в чудной своей способности выражать с предельным изяществом и живостью — — Так, примерно, я полагал начать свою повесть. Далее я обратил бы внимание читателя на то, что, не будь во мне этой силы, способности и прочего, я бы не только отказался от описывания недавних событий, но и вообще нечего было бы описывать, ибо, дорогой читатель, не случилось бы ничего. Это глупо, но зато ясно. Лишь дару проникать в измышления жизни, врожденной склонности к непрерывному творчеству я обязан тем — — Тут я сравнил бы нарушителя того закона, который запрещает проливать красненькое, с поэтом, с артистом... Но, как говаривал мой бедный левша, философия выдумка богачей. Долой.

Я, кажется, попросту не знаю, с чего начать. Смешон пожилой человек, который бегом, с прыгающими щеками, с решительным топотом, догнал последний автобус, но боится вскочить на ходу, и виновато улыбаясь, еще труся по инерции, отстают. Неужто не смею вскочить? Он воет, он ускоряет ход, он сейчас уйдет за угол, непоправимо, — могучий автобус моего рассказа. Образ довольно громоздкий. Я все еще бегу.

Покойный отец мой был ревельский немец, по образованию агроном, покойная мать — чисто-русская. Старинного княжеского рода. Да, в жаркие летние дни она, бывало, в сиреневых шелках, томная, с веером в руке, полулежала в качалке обмахиваясь, кушала шоколад, и наливались сенокосным ветром лиловые паруса спущенных штор. Во время войны меня, немецкого подданного, интернировали, — я только что поступил в петербургский университет, пришлось все бросить. С конца четырнадцатого до середины девятнадцатая года я прочел тысяча восемнадцать книг, — вел счет. Проездом в Германию я на три месяца застрял в Москве и там женился. С двадцатого года проживал в Берлине. Девятого мая тридцатого года, уже перевалив лично за тридцать пять — —

Маленькое отступление: насчет матери я соврал. По настоящему она была дочь мелкого мещанина, — простая, грубая женщина в грязной кацавейке. Я мог бы, конечно, похерить выдуманную историю с веером, но я нарочно оставляю ее, как образец одной из главных моих черт: легкой, вдохновенной лживости. Итак, говорю

я, девятого мая тридцатого года я был по делу в Праге. Дело было шоколадное. Шоколад — хорошая вещь. Есть барышни, которые любят только горький сорт, — надменные лакомки. Не понимаю, зачем беру такой тон.

У меня руки дрожат, мне хочется заорать или разбить что-нибудь, грохнуть чем-нибудь об пол... В таком настроении невозможно вести плавное повествование. У меня сердце чешется, — ужасное ощущение. Надо успокоиться, надо взять себя в руки. Так нельзя. Спокойствие. Шоколад, как известно, (представьте себе, что следует описание его производства). На обертке нашего товара изображена дама в лиловом, с веером. Мы предлагали иностранной фирме, скатывавшейся в банкротство, перейти на наше производство для обслуживания Чехии, — поэтому-то я и оказался в Праге. Утром девятого мая я, из гостиницы, в таксомоторе отправился — — Все это скучно докладывать, убийственно скучно, — мне хочется поскорее добраться до главного, — но ведь полагается же кое-что предварительно объяснить. Словом, — контора фирмы была на окраине города, и я не застал кого хотел, сказали, что он будет через час, наверное...

Нахожу нужным сообщить читателю, что только что был длинный перерыв, — успело зайти солнце, опаяя по пути палевые облака над горой, похожей на Фузияму, — я просидел в каком-то тягостном изнеможении, то прислушиваясь к шуму и уханью ветра, то рисуя носы на полях, то впадая в полудремоту, — и вдруг содрагаясь... и снова росло ощущение внутреннего зуда, нестерпимой щекотки, — и такое безволие, такая пустота. Мне стоило большого усилия зажечь лампу и вставить новое перо, — старое расщепилось, согнулось и теперь смахивало на клюв хищной птицы. Нет, это не муки творчества, это — совсем другое.

Значит, не застал, и сказали, что через час. От нечего делать я пошел погулять. Был продувной день, голубой, в яблоках; ветер, дальний родственник здешнего, летал по узким улицам; облака то и дело сметали солнце, и оно показывалось опять как монета фокусника. В сквере, где катались инвалиды в колясочках, бушевала сирень. Я глядел на вывески, находил слово, таившее понятный корень, но обросшее непонятным смыслом. Пошел наугад, размахивая руками в новых желтых перчатках, и вдруг дома кончились, распахнулся простор, показавшийся мне вольным, деревенским, весьма заманчивым. Миновав казарму, перед которой солдат вываживал белую лошадь, я зашагал уже по мягкой, липкой земле, дрожали на ветру одуванчики, млел на солнцепеке у забора дырявый сапожок. Впереди великолепный крутой холм поднимался стеной в небо. Решил на него взобраться. Великолепие его оказалось обманом. Среди низкорослых буков и бузины вилась вверх зигзагами ступенчатая тропинка. Казалось, вот-вот сейчас

дойду до какой-то чудной глухой красоты, но ее все не было. Эта растительность, нищая и неказистая, меня не удовлетворяла, кусты росли прямо на голой земле, и все было загажено, бумажонки, тряпки, отбросы. Со ступеней тропинки, проложенной очень глубоко, некуда было свернуть; из земляных стен по бокам, как пружины из ветхой мебели, торчали корни и клочья гнилого мха. Когда я наконец дошел доверху, там оказались кривые домики, да на веревке надувались мнимой жизнью подштанники.

Облокотясь на узловатые перила, я увидел внизу одернутую легкой поволокой Прагу, мреющие крыши, дымящие трубы, двор казармы, крохотную белую лошадь. Решил вернуться другим путем и стал спускаться по шоссейной дороге, которую нашел за домишками. Единственной красотой ландшафта был вдаль, на пригорке, окруженный голубизной неба круглый, румяный газоем, похожий на исполинский футбольный мяч. Я покинул шоссе и пошел опять вверх, по редкому бобрику травы. Унылые, бесплодные места, грохот грузовика на покинутой мною дороге, навстречу грузовику — телега, потом велосипедист, потом в гнусную радугу окрашенный автомобиль фабрики лаков.

Некоторое время я глядел со ската на шоссе; повернулся, пошел дальше, нашел что-то вроде тропинки между двух лысых горбов и поискал глазами где бы присесть отдохнуть. Поодаль, около терновых кустов, лежал навзничь, раскинув ноги, с картузом на лице, человек. Я прошел было мимо, но что-то в его позе странно привлекло мое внимание, — эта подчеркнутая неподвижность, мертво раздвинутые колени, деревянность полусогнутой руки. Он был в обшарканных плисовых штанах и темном пиджачке.

“Глупости, — сказал я себе, — он спит, он просто спит. Чего буду соваться, разглядывать”. И все же я подошел и носком моего изящного ботинка брезгливо скинул с его лица картуз.

Оркестр, играй туш! Или лучше: дробь барабана, как при задыхающемся акробатическом трюке! Невероятная минута. Я усомнился в действительности происходящего, в здравости моего рассудка, мне сделалось почти дурно — честное слово, — я сел рядом, — дрожали ноги. Будь на моем месте другой, увидь он, что увидел я, его бы может быть прежде всего охватил гомерический смех. Меня же ошеломила таинственность увиденного. Я глядел, — и все во мне как-то срывалось, летало с каких-то десятых этажей. Я смотрел на чудо. Чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью и бесцельностью.

Тут, раз я уже добрался до сути и утолил зуд, не лишнее, пожалуй, слогу своему приказать: вольно — потихоньку повернуть вспять и установить, какое же настроение было у меня в то утро, о чем я размышлял, когда, не заставь контрагента, пошел погулять, полз на холм, глядел вдаль, на облый румянец газоема среди

ветренной синевы майского дня. Вернемся, установим. Вот, без цели еще, я блуждаю, я еще никого не нашел. О чем я, в самом деле, думал? То-то и оно, что ни о чем. Я был совершенно пуст, как прозрачный сосуд, ожидающий неизвестного, но неизбежного содержания. Дымка каких-то мыслей, — о моем деле, о недавно приобретенном автомобиле, о различных свойствах тех мест, которыми я шел, — дымка этих мыслей витала вне меня, а если что и звучало в просторной моей пустоте, то лишь невнятное ощущение какой-то силы, влекущей меня. Один умный латыш, которого я знал в девятнадцатом году в Москве, сказал мне однажды, что беспричинная задумчивость, иногда обволакивающая меня, признак того, что я кончу в сумасшедшем доме. Конечно, он преувеличивал, — я за этот год хорошо испытал необыкновенную ясность и стройность того логического зодчества, которому предавался мой сильно развитый, но вполне нормальный разум. Интуитивные игры, творчество, вдохновение, все то возвышенное, что украшало мою жизнь, может, допустим, показаться профану, пускай умному профану, предисловием к невинному помешательству. Но успокойтесь, я совершенно здоров, тело мое чисто как снаружи, так и внутри, поступь легка, я не пью, курю в меру, не развратничаю. Здоровый, прекрасно одетый, очень молодежавый, я блуждал по только что описанным местам, — и тайное вдохновение меня не обмануло, я нашел то, чего бессознательно искал. Повторяю, невероятная минута. Я смотрел на чудо, и чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью, бесцельностью, но быть может уже тогда, в ту минуту, рассудок мой начал пытаться совершенство, добиваться причины, разгадывать цель.

Он сильно потянул носом, зыбь жизни побежала по лицу, чудо слегка замутилось, но не ушло. Затем он открыл глаза, покосился на меня, приподнялся и начал, зевая и все недозевывая, скрести обеими руками в жирных русых волосах.

Это был человек моего возраста, долговязый, грязный, дня три не брившийся; между нижним краем воротничка (мягкого, с двумя петельками спереди для несуществующей булавки) и верхним краем рубашки розовела полоска кожи. Тощий конец вязаного галстука свесился на бок, и на груди не было ни одной пуговицы. В петлице пиджака увядал пучок бледных фиалок, одна выбилась и висела головкой вниз. Подле лежал грушевидный заплечный мешок с ремнями, подлеченными веревкой. Я рассматривал бродягу с неизъяснимым удивлением, словно это он так нарядился нарочно, ради простоватого маскарада.

“Папироса найдется?” — спросил он по-чешски, неожиданно низким, даже солидным голосом и сделал двумя расставленными пальцами жест курения.

Я протянул ему мою большую кожаную папиросницу, ни на мгновение не спуская с него глаз. Он пододвинулся, опершись ладонью оземь. Тем временем я осмотрел его ухо и впалый висок.

“Немецкие”, — сказал он и улыбнулся, — показав десны; это меня разочаровало, но к счастью улыбка тотчас исчезла (мне теперь не хотелось расставаться с чудом).

“Вы немец?” — спросил он по-немецки, вертя, уплотняя папиросу.

Я ответил утвердительно и щелкнул перед его носом зажигалкой. Он жадно сложил ладони куполом над мятущимся маленьким пламенем. Ногти — черно-синие, квадратные.

“Я тоже немец, — сказал он, выпустив дым, — то есть, мой отец был немец, а мать из Пильзена, чешка”.

Я все ждал от него взрыва удивления, — может быть гомерического смеха, — но он оставался невозмутим. Уже тогда я понял, какой это оболтус.

“Да, я выпался”, — сказал он самому себе с тупым удовлетворением и смачно сплюнул.

Я спросил: “Вы что — без работы?”

Скорбно закивал и опять сплюнул. Всегда удивляюсь тому, сколько слюны у простого народа.

“Я могу больше пройти, чем мои сапоги”, — сказал он, глядя на свои ноги. Обувь у него была, действительно, неважная.

Медленно перевалившись на живот и глядя вдаль, на газоем, на жаворонка, поднявшегося с межи, он мечтательно проговорил:

“В прошлом году у меня была хорошая работа в Саксонии, неподалеку от границы. Садовничал — что может быть лучше? Потом работал в кондитерской. Мы каждый день с товарищем после работы переходили границу, чтобы выпить по кружке пика. Девять верст туда и столько же обратно, оно в Чехии дешевле. А одно время я играл на скрипке, и у меня была белая мышь”.

Теперь поглядим со стороны, — но так, мимоходом, не всматриваясь в лица, не всматриваясь, господа, — а то слишком удивитесь. А впрочем все равно, — после всего случившегося я знаю, увы, как плохо и пристрастно людское зрение. Итак: двое рядом на чахлой траве. Прекрасно одетый господин, хлопающий себя желтой перчаткой по колену, и рассеянный бродяга, лежащий ничком и жалующийся на жизнь. Жесткий трепет терновых кустов, бегущие облака, майский день, вздрагивающий от ветра, как вздрагивает лошадиная кожа, дальний грохот грузовика со стороны шоссе, голосок жаворонка в небе. Бродяга говорил с перерывами, изредка сплевывая. То да се, то да се... Меланхолично вздыхал. Лежа ничком, отгибал икры к заду и опять вытягивал ноги.

“Послушайте, — не вытерпел я, — неужели вы ничего не замечаете?”

Перевернулся, сел. “В чем дело?” — спросил он, и на его лице появилось выражение хмурой подозрительности.

Я сказал: “Ты, значит, слеп”.

Секунд десять мы смотрели друг другу в глаза. Я медленно поднял правую руку, но его шуйца не поднялась, а я почти ожидал этого. Я прищурил левый глаз, но оба его глаза остались открытыми. Я показал ему язык. Он пробормотал опять: “В чем дело, в чем дело?”

Было у меня зеркальце в кармане. Я его дал ему. Еще только беря его, он всей пятерней мазнул себя по лицу, взглянул на ладонь, но ни крови, ни грязи не было. Посмотрелся в блестящее стекло. Пожал плечами и отдал.

“Мы же с тобой, болван, — крикнул я, — мы же с тобой — ну разве, болван, не видишь, ну посмотри на меня хорошенько...”

Я привлек его голову к моей, висок к виску, в зеркальце запрыгали и поплыли наши глаза.

Он снисходительно сказал: “Богатый на бедняка не похож, — но вам виднее... Вот помню на ярмарке двух близнецов, это было в августе двадцать шестого года или в сентябре, нет, кажется, в августе. Так там действительно — их нельзя было отличить друг от друга. Предлагали сто марок тому, кто найдет приметку. Хорошо, говорит рыжий Фриц, и бац одному из близнецов в ухо. Смотрите, говорит, у этого ухо красное, а у того нет, давайте сюда ваши сто марок. Как мы смеялись!”

Его взгляд скользнул по дорогой бледно-серой материи моего костюма, побежал по рукаву, споткнулся о золотые часики на кисти.

“А работы у вас для меня не найдется?” — осведомился он, склонив голову на бок.

Отмечу, что он первый, не я, почуял масонскую связь нашего сходства, а так как установление этого сходства шло от меня, то я находился, по его бессознательному расчету, в тонкой от него зависимости, точно мимикрирующим видом был я, а он — образцом. Всякий, конечно, предпочитает, чтобы сказали: он похож на вас, — а не наоборот: вы на него. Обращаясь ко мне с просьбой, этот мелкий мошенник испытывал почву для будущих требований. В его туманном мозгу мелькала, может быть, мысль, что мне полагается быть ему благодарным за то, что он существованием своим щедро дает мне возможность походить на него. Наше сходство казалось мне игрой чудесных сил. Он в нашем сходстве усматривал участие моей воли. Я видел в нем своего двойника, то есть существо, физически равное мне, — именно это полное равенство так мучительно меня волновало. Он же видел во мне сомнительного подражателя. Подчеркиваю однако туманность этих его мыслей. По крайней

тупости своей он, разумеется, не понял бы моих комментариев к ним.

“В настоящее время ничем помочь тебе не могу, — ответил я холодно, — но дай мне свой адрес”. Я вынул записную книжку и серебряный карандаш.

Он усмехнулся: “Не могу сказать, чтобы у меня сейчас была вилла. Лучше спать на сеновале, чем в лесу, но лучше спать в лесу, чем на скамейке”.

“А все-таки, — сказал я, — где в случае чего можно тебя найти?”

Он подумал и ответил: “Осенью я наверное буду в той деревне, где работал прошлой осенью. Вот на тамошний почтамт и адресуйте. Неподалеку от Тарница. Дайте, запишу”.

Его имя оказалось: Феликс, что значит “счастливый”. Фамилию, читатель, тебе знать незачем. Почерк неуклюжий, скрипящий на поворотах. Писал он левой рукой.

Мне было пора уходить. Я дал ему десять крон. Снисходительно осклабясь, он протянул мне руку, оставаясь при этом в полулежащем положении.

Я быстро пошел к шоссе. Обернувшись, я увидел его темную, долговязую фигуру среди кустов: он лежал на спине, перекинув ногу на ногу и подложив под темя руки. Я почувствовал вдруг, что ослабел, прямо изнемог, кружилась голова, как после долгой и мерзкой оргии. Меня сладко и мутно волновало, что он так хладнокровно, будто невзначай, в рассеянии, прикарманил серебряный карандаш. Шагая по обочине, я время от времени прикрывал глаза и едва не попал в канаву. Потом, в конторе, среди делового разговора меня так и подмывало вдруг сообщить моему собеседнику: “Со мною случилась невероятная вещь. Представьте себе...” Но я ничего не сказал и этим создал прецедент тайны. Когда я наконец вернулся к себе в номер, то там, в ртутных тенях, обрамленный курчавой бронзой, ждал меня Феликс. С серьезным и бледным лицом он подошел ко мне вплотную. Был он теперь чисто выбрит, гладко зачесанные назад волосы, бледно серый костюм, сиреневый галстук. Я вынул платок, он вынул платок тоже. Перемирие, переговоры...

Пыль предместья набилась мне в ноздри. Сморкаясь, я присел на край постели, продолжая смотреться в олакрез. Помню, что мелкие признаки бытия, — щекотка в носу, голод, и потом рыжий вкус шницеля в ресторане, — странно меня занимали, точно я искал и находил (и все-таки слегка сомневался) доказательства тому, что я — я, что я (средней руки комерсант с замашками) действительно нахожусь в гостинице, обедаю, думаю о делах и ничего не имею общего с бродягой, валяющимся сейчас где-то за городом, под кустом. И вдруг снова у меня сжималось в груди от ощущения чуда. Ведь этот человек, особенно когда он спал, когда черты

были неподвижны, являл мне мое лицо, мою маску, безупречную и чистую личину моего трупа, — я говорю, трупа только для того, чтобы с предельной ясностью выразить мою мысль, — какую мысль? — а вот какую: у нас были тождественные черты, и в совершенном покое тождество это достигало крайней своей очевидности, — а смерть это покой лица, художественное его совершенство: жизнь только портила мне двойника: так ветер туманит счастье Нарцисса, так входит ученик в отсутствие художника и непрошенной игрой лишних красок искажает мастером написанный портрет. И еще я думал о том, что именно мне, особенно любившему и знавшему свое лицо, было легче, чем другому, обратить внимание на двойника, — ведь не все так внимательны, ведь часто бывает, что говоришь “как похожи!” о двух знакомых между собою людях, которые не подозревают о подобии своем (и стали бы отрицать его не без досады, ежели его им открыть). Возможность, однако, такого совершенного сходства, какое было между мной и Феликсом, никогда прежде мною не предполагалась. Я видал схожих братьев, соутробников, я видал в кинематографе двойников, то есть актера в двух ролях, — как и в нашем случае, наивно подчеркивалась разница общественного положения: один непременно беден, а другой состоятелен, один — бродяга в кепке, с расхристанной походкой, а другой — солидный буржуа с автомобилем, — как будто и впрямь чета схожих бродяг или чета схожих джентльменов менее поражала бы воображение. Да, я все это видал, — но сходство близнецов испорчено штампом родственности, а фильмвый актер в двух ролях никого не обманывает, ибо если он и появляется сразу в двух лицах, то чувствуешь поперек снимка линию склейки. В данном же случае не было ни анемии близнячества (кровь пошла на двоих), ни трюка иллюзиониста.

Я желаю во чтобы то ни стало, и я этого добьюсь, убедить всех вас, заставить вас, негодаев, убедиться, — но боюсь, что по самой природе своей, слово не может полностью изобразить сходство двух человеческих лиц, — следовало бы написать их рядом не словами, а красками, и тогда зрителю было бы ясно, о чем идет речь. Высшая мечта автора: превратить читателя в зрителя, — достигается ли это когда-нибудь? Бледные организмы литературных героев, питаюсь под руководством автора, наливаются живой читательской кровью; гений писателя состоит в том, чтобы дать им способность ожить благодаря этому питанию и жить долго. Но сейчас мне нужна не литература, а простая, грубая наглядность живописи. Вот мой нос, — крупный, северного образца, с крепкой костью и почти прямоугольной мякиной. Вот его нос, — точь-в-точь такой же. Вот эти две резкие бороздки по сторонам рта и тонкие, как бы слизанные губы. Вот они и у него. Вот скулы... Но это — паспортный, ничего

не говорящий перечень черт, и в общем ерундовая условность. Кто-то когда-то мне сказал, что я похож на Амундсена. Вот он тоже похож на Амундсена. Но не все помнят Амундсеново лицо, я сам сейчас плохо помню. Нет, ничего не могу объяснить.

Жеманничаю. Знаю, что доказал. Все обстоит великолепно. Читатель, ты уже видишь нас. Одно лицо! Но не думай, я не стесняюсь возможных недостатков, мелких опечаток в книге природы. Присмотрись: у меня большие желтоватые зубы, у него они теснее, светлее, — но разве это важно? У меня на лбу надувается жила, как недочерченная “мысль”, но когда я сплю, у меня лоб так же гладок, как у моего дубликата. А уши... изгибы его раковин очень мало изменены против моих: спрессованы тут, разглажены там. Разрез глаз одинаков, узкие глаза, подтянутые, с редкими ресницами, — но они у него цветом бледнее. Вот, кажется, и все отличительные приметы, которые в ту первую встречу я мог высмотреть. В тот вечер, в ту ночь я памятью рассудка перебирал эти незначительные погрешности, а глазной памятью видел, вопреки всему, себя, себя, в жалком образе бродяги, с неподвижным лицом, с колющей тенью — как за ночь у покойников — на подбородке и щеках... Почему я замешкал в Праге? С делами было покончено, я свободен был вернуться в Берлин. Почему? Почему на другое утро я опять отправился на окраину и пошел по знакомому шоссе? Без труда я отыскал место, где он вчера валялся. Я там нашел золотой окурок, кусок чешской газеты и еще — то жалкое, безличное, что незатейливый пешеход оставляет под кустом. Несколько изумрудных мух дополняло картину. Куда он ушел, где провел ночь? Праздные, неразрешимые вопросы. Мне стало нехорошо на душе, смутно, тягостно, словно все, что произошло, было недобрым делом. Я вернулся в гостиницу за чемоданом и поспешил на вокзал. У выхода на дебаркадер стояли в два ряда низкие, удобные, по спинному хребту выгнутые скамейки, там сидели люди, кое-кто дремал. Мне подумалось: вот сейчас увижу его, спящим, с раскрытыми руками, с последней уцелевшей фиалкой в петлице. Нас бы заметили рядом, вскочили, окружили, потащили бы в участок. Почему? Зачем я это пишу? Привычный разбег пера? Или в самом деле есть уже преступление в том, чтобы как две капли крови походить друг на друга?

ГЛАВА II

Я слишком привык смотреть на себя со стороны, быть собственным натурщиком — вот почему мой слог лишен благодатного духа непосредственности. Никак не удастся мне вернуться в свою оболочку и по старому расположиться в самом себе, — такой там беспорядок: мебель переставлена, лампочка перегорела, прошлое мое разорвано на клочки.

А я был довольно счастлив. В Берлине у меня была небольшая, но симпатичная квартира, — три с половиной комнаты, солнечный балкон, горячая вода, центральное отопление, жена Лида и горничная Эльза. По соседству находился гараж, и там стоял приобретенный мной на выплату, хорошенький, темно-синий автомобиль, — двухместный. Успешно, хоть и медлительно, рос на балконе круглый, натуженный, седовласый кактус. Папиросы я покупал всегда в одной и той же лавке, и там встречали меня счастливой улыбкой. Такая же улыбка встречала жену там, где покупались масло и яйца. По субботам мы ходили в кафе или кинематограф. Мы принадлежали к сливкам мещанства, — по крайней мере так могло казаться. Однако, по возвращении домой из конторы, я не разувался, не ложился на кушетку с вечерней газетой. Разговор мой с женой не состоял исключительно из небольших цифр. Приключения моего шоколада притягивали мысль не всегда. Мне, признаюсь, была не чужда некоторая склонность к богеме. Что касается моего отношения к новой России, то прямо скажу: мнений моей жены я не разделял. Понятие “большевики” принимало в ее крашенных устах оттенок привычной и ходульной ненависти, — нет, пожалуй “ненависть” слишком страстно сказано, — это было что-то домашнее, элементарное, бабье, — большевиков она не любила, как не любишь дождя (особенно по воскресениям), или клопов (особенно в новой квартире), — большевизм был для нее чем-то природным и неприятным, как простуда. Обоснование этих взглядов подразумевалось само собой, толковать их было незачем. Большевик не верит в Бога, — ах, какой нехороший, — и вообще — хулиган и садист. Когда я бывало говорил, что коммунизм в конечном счете — великая, нужная вещь, что новая, молодая Россия создает замечательные ценности, пускай непонятные европейцу, пускай неприемлемые для обездоленного и обозленного эмигранта, что такого энтузиазма, аскетизма, бескорыстия, веры в свое грядущее единообразие еще

никогда не знала история, — моя жена невозмутимо отвечала: “Если ты так говоришь, чтобы дразнить меня, то это не мило”. Но я действительно так думаю, т. е. действительно думаю, что надобно что-то такое коренным образом изменить в нашей пестрой, неуловимой, запутанной жизни, что коммунизм действительно создаст прекрасный квадратный мир одинаковых здоровяков, широкоплечих микроцефалов, и что в неприязни к нему есть нечто детское и предвзятое, вроде ужимки, к которой прибегает моя жена, напрягает ноздри и поднимает бровь (то есть дает детский и предвзятый образ роковой женщины) всякий раз, как смотрится — даже мельком — в зеркало.

Вот, не люблю этого слова. Страшная штука. С тех пор, как я перестал бриться, оно не употребляю. Между тем упоминание о нем неприятно взволновало меня, прервало течение моего рассказа. (Представьте себе, что следует: история зеркал.). А есть и кривые зеркала, зеркала-чудовища; малейшая обнаженность шеи вдруг удлиняется, а снизу, навстречу ей, вытягивается другая, неизвестно откуда взявшаяся марципановая нагота, и обе сливаются; кривое зеркало раздевает человека или начинает уплотнять его, и получается человек-бык, человек-жаба, под давлением неисчислимых зеркальных атмосфер, — а не то тянешься, как тесто, и рвешься пополам, — уйдем, уйдем, — я не умею смеяться гомерическим смехом, — все это не так просто, как вы, сволочи, думаете. Да, я буду ругаться, никто не может мне запретить ругаться. И не иметь зеркала в комнате — тоже мое право. А в крайнем случае (чего я, действительно, боюсь?) отразился бы в нем незнакомый бородач, — здорово она у меня выросла, эта самая борода, — и за такой короткий срок, — я другой, совсем другой, — я не вижу себя. Из всех пор прет волос. Повидимому внутри у меня были огромные запасы косматости. Скрываюсь в естественной чаще, выросшей из меня. Мне нечего бояться. Пустая суеверность. Вот я напишу опять то слово. Олакрез. Зеркало. И ничего не случилось. Зеркало, зеркало, зеркало. Сколько угодно, — не боюсь. Зеркало. Смотреться в зеркало. Я это говорил о жене. Трудно говорить, если меня все время перебивают.

Она между прочим тоже была суеверна. Сухо дерево. Торопливо, с решительным видом, плотно сжав губы, искала какой-нибудь голый, неполированной деревянности, чтобы легонько тронуть ее своими короткими пальцами, с подушечками вокруг землянично-ярких, но всегда, как у ребенка, не очень чистых ногтей, — поскорее тронуть, пока еще не остыло в воздухе упоминание счастья. Она верила в сны, — выпавший зуб — смерть знакомого, зуб с кровью — смерть родственника. Жемчуга это слезы. Очень дурно видеть себя в белом платье, сидящей во главе стола. Грязь — это

богатство, кошка — измена, море — душевные волнения. Она любила подолгу и обстоятельно рассказывать свои сны. Увы, я пишу о ней в прошедшем времени. Подтянем пряжку рассказа на одну дырочку.

Она ненавидит Ллойд-Джорджа, из-за него, дескать, погибла Россия, — и вообще: “Я бы этих англичан своими руками передумала”. Немцам попадает за пломбированный поезд (большевичный консерв, импорт Ленина). Французам: “Мне, знаешь, рассказывал Ардалион, что они держались по-хамски во время эвакуации”. Вместе с тем она находит тип англичанина (после моего) самым красивым на свете, немцев уважает за музыкальность и солидность и “обожает Париж”, где как то провела со мной несколько дней. Эти ее убеждения неподвижны, как статуи в нишах. Зато ее отношение к русскому народу проделало все-таки некоторую эволюцию. В двадцатом году она еще говорила: “Настоящий русский мужик — монархист!”. Теперь она говорит: “Настоящий русский мужик вымер”. Она мало образована и мало наблюдательна. Мы выяснили как-то, что слово “мистик” она принимала всегда за уменьшительное, допуская таким образом существование каких-то настоящих, больших “мистов”, в черных тогах, что-ли, со звездными лицами. Единственное дерево, которое она отличает, это береза: наша, мол, русская. Она читает запоем, и все — дребедень, ничего не запоминая и выпуская длинные описания. Ходит по книжки в русскую библиотеку, сидит там у стола и долго выбирает, ощупывает, перелистывает, заглядывает в книгу боком, как курица, высматривающая зерно, — откладывает, — берет другую, открывает, — все это делается одной рукой, не снимая со стола, — заметив, что открыла вверх ногами, поворачивает на девяносто градусов, — и тут же быстро тянется к той, которую библиотекарь готовится предложить другой даме, — все это длится больше часа, а чем определяется ее конечный выбор — не знаю, быть может заглавием. Однажды я ей привез с вокзала пустяковый криминальный роман в обложке, украшенной красным крестовиком на черной паутине, — принялась читать, адски интересно, просто нельзя удержаться, чтобы не заглянуть в конец, — но, так как это все бы испортило, она, зажмурясь, разорвала книгу по корешку на две части и заключительную спрятала, а куда — забыла, и долго-долго искала по комнатам ею же сокрытого преступника, приговаривая тонким голосом: “Это так было интересно, так интересно, я умру, если не узнаю”.

Она теперь узнала. Эти все объясняющие страницы были хорошо запрятаны, но они нашлись, все, кроме, быть может, одной. Вообще много чего произошло и теперь объяснилось. Случилось и то, чего она больше всего боялась. Из всех примет это была самая жуткая. Разбитое зеркало. Да, так оно и случилось, но совсем обычным образом. Бедная покойница!

Ти-ри-бом. И еще раз — бом! Нет, я не сошел с ума, это я просто издаю маленькие радостные звуки. Так радуешься, надув кого-нибудь. А я только что здорово кого-то надул. Кого? Посмотришь, читатель, в зеркало, благо ты зеркала так любишь.

Но теперь мне вдруг стало грустно, — по-настоящему. Я вспомнил вдруг так живо этот кактус на балконе, эти синие наши комнаты, эту квартиру в новом доме, выдержанную в современном коробочно — обжужу — пространство — бесфинтифлюшечном стиле, — и на фоне моей аккуратности и чистоты ералаш, который всюду селя Лиды, сладкий, вульгарный запах ее духов. Но ее недостатки, ее святая тупость, институтские фурирчики в подушку, не сердили меня. Мы никогда не ссорились, я никогда не сделал ей ни одного замечания, — какую бы глупость она на людях ни сморозила, как бы дурно она ни оделась. Не разбиралась, бедная, в оттенках: ей казалось, что, если все одного цвета, цель достигнута, гармония полная, и поэтому она могла нацепить изумрудно-зеленую фетровую шляпу при платье оливковым или нильской воды. Любила, чтобы все “повторялось”, — если кушак черный, то уже непременно какой-нибудь черный кантик или черный бантик на шее. В первые годы нашего брака она носила белье со швейцарским шитьем. Ей ничего не стоило к воздушному платью надеть плотные осенние башмаки, — нет, тайны гармонии ей были совершенно недоступны, и с этим связывалась необычайная ее безалаберность, неряшливость. Неряшливость сказывалась в самой ее походке: мгновенно ступывала каблук на левой ноге. Страшно было заглянуть в ящик комода, — там кишели, свившись в клубок, тряпочки, ленточки, куски материи, ее паспорт, обрезок молью подъеденного меха, еще какие-то анахронизмы, например, дамские гетры — одним словом, Бог знает что. Частенько и в царство моих аккуратно сложенных вещей захаживал какой-нибудь грязный кружевной платочек или одинокий рваный чулок: чулки у нее рвались немедленно, — словно сгорали на ее бойких икрах. В хозяйстве она не понимала ни аза, гостей принимала ужасно, к чаю почему-то подавалась в вазочке наломанная на кусочки плитка молочного шоколада, как в бедной провинциальной семье. Я иногда спрашивал себя, за что, собственно, ее люблю, — может быть, за теплый карий раек пушистых глаз, за естественную боковую волну в кое-как причесанных каштановых волосах, за круглые, подвижные плечи, а всего вернее — за ее любовь ко мне.

Я был для нее идеалом мужчины: умница, смельчак. Наряднее меня не одевался никто, — помню, когда я сшил себе новый смокинг с огромными панталонами, она тихо всплеснула руками, в тихом изнеможении опустилась на стул и тихо произнесла: “Ах, Герман...” — это было восхищение, граничившее с какой-то райской грустью.

Пользуясь ее доверчивостью, с безотчетным чувством, быть может, что, украшая образ любимого ею человека, иду ей навстречу, творю доброе, полезное для ее счастья дело, я за десять лет нашей совместной жизни наврал о себе, о своем прошлом, о своих приключениях так много, что мне самому все помнить и держать наготове для возможных ссылок — было бы непосильно. Но она забывала все, — ее зонтик перегостил у всех наших знакомых, история, прочитанная в утренней газете, сообщалась мне вечером приблизительно так: “Ах, где я читала, — и что это было... не могу поймать за хвостик, — подскажи, ради Бога”, — дать ей опустить письмо равнялось тому, чтобы бросить его в реку, положась на расторопность течения и рыболовный досуг получателя. Она путала даты, имена, лица. Понавыдумав чего-нибудь, я никогда к этому не возвращался, она скоро забывала, рассказ погружался на дно ее сознания, но на поверхности оставалась вечно обновляемая зыбь нетребовательного изумления. Ее любовь ко мне почти выступала за ту черту, которая определяла все ее другие чувства. В иные ночи — лунные, летние, — самые оседлые ее мысли превращались в робких кочевников. Это длилось недолго, заходили они недалеко; мир замыкался опять, — простейший мир; самое сложное в нем было разыскивание телефонного номера, записанного на одной из страниц библиотечной книги, одолженной как раз тем знакомым, которым следовало позвонить.

Любила она меня без оговорок и без оглядок, с какой-то естественной преданностью. Не знаю, почему я опять впал в прошедшее время, — но все равно, — так удобнее писать. Да, она любила меня, верно любила. Ей нравилось рассматривать так и сяк мое лицо: большим пальцем и указательным, как циркулем, она мерила мои черты, — чуть колющее, с длинной выемкой посередине, надгубье, просторный лоб, с припухлостями над бровями, проводила ногтем по бороздкам с обеих сторон сжатого, нечувствительного к щекотке, рта. Крупное лицо, непростое, вылепленное на заказ, с блеском на маслаках и слегка впалыми щеками, которые на второй день покрывались как раз таким же рыжеватым на свет волосом, как у него. А сходство глаз (правда, неполное сходство) это уже роскошь, — да и все равно они были у него прикрыты, когда он лежал передо мной, — и хотя я никогда не видал воочию, только ощущивал, свои сомкнутые веки, я знаю, что они не отличались от евонных, — удобное слово, пора ему в калашный ряд. Нет, я ничуть не волнуюсь, я вполне владею собой. Если мое лицо то и дело выскакивает, точно из-за плетня, раздражая, пожалуй, деликатного читателя, то это только на благо читателю, — пускай ко мне привыкнет; я же буду тихо радоваться, что он не знает, мое ли это лицо или Феликса, — выгляну и спрячусь, — а это был не я. Только таким способом и можно читателя проучить, доказать ему на

опыте, что это не выдуманное сходство, что оно может, может существовать, что оно существует, да, да, да, — как бы искусственно и нелепо это ни казалось.

Когда я вернулся из Праги в Берлин, Лида на кухне взбивала гоголь-моголь... “Горлышко болит”, — сказала она озабоченно; поставила стакан на плиту, отерла кистью желтые губы и поцеловала мою руку. Розовое платье, розовые чулки, рваные шлепанцы... Кухню наполняло вечернее солнце. Она принялась опять вертеть ложкой в густой желтой массе, похрустывал сахарный песок, было еще рыхло, ложка еще не шла гладко, с тем бархатным оканием которого следует добиться. На плите лежала открытая потрепанная книга; неизвестным почерком, тупым карандашом — заметка на поле: “Увы, это верно” и три восклицательных знака со съехавшими на-бок точками. Я прочел фразу, так понравившуюся одному из предшественников моей жены: “Любовь к ближнему, проговорил сэр Реджинальд, не котируется на бирже современных отношений”.

“Ну как, — хорошо съездил?” — спросила жена, сильно вертя ручкой и зажав ящик между колен. Кофейные зерна потрескивали, крепко благоухали, мельница еще работала с натугой и грохотом, но вдруг полегчало, сопротивления нет, пустота...

Я что-то спутал. Это как во сне. Она ведь делала гоголь-моголь, а не кофе.

“Так себе съездил. А у тебя что слышно?”

Почему я ей не сказал о невероятном моем приключении? Я, рассказывавший ей уйму чудесных небылиц, точно не смел оскверненными не раз устами поведать ей чудесную правду. А может быть удерживало меня другое: писатель не читает во всеуслышание неоконченного черновика, дикарь не произносит слов, обозначающих вещи таинственные, сомнительно к нему настроенные, сама Лида не любила преждевременного именованья едва светающих событий.

Несколько дней я оставался под гнетом той встречи. Меня странно беспокоила мысль, что сейчас мой двойник шагает по неизвестным мне дорогам, дурно питается, холодает, мокнет, — может быть уже простужен. Мне ужасно хотелось, чтобы он нашел работу: приятнее было бы знать, что он в сохранности, в тепле или хотя бы в надежных стенах тюрьмы. Вместе с тем я вовсе не собирался принять какие-либо меры для улучшения его обстоятельств, содержать его мне ни чуть не хотелось. Да и найти для него работу в Берлине, и так полном дворомыг, было все равно невозможно, — и, вообще говоря, мне почему-то казалось предпочтительнее, чтобы он находился в некотором отдалении от меня, точно близкое с ним соседство нарушило бы чары нашего сходства. Время от времени, дабы он не погиб, не опустился окончательно среди своих дальних скитаний, оставался живым, верным носителем моего лица в

мире, я бы ему, пожалуй, посылал небольшую сумму... Праздное благоволение, — ибо у него не было постоянного адреса; так что повременим,ждемся того осеннего дня, когда он зайдет на почта-тамт в глухом саксонском селении.

Прошел май, и воспоминание о Феликсе затянулось. Отмечаю сам для себя ровный ритм этой фразы: банальную повествовательность первых двух слов и затем — длинный вздох идиотического удовлетворения. Любителям сенсаций я однако укажу на то, что затягивается, собственно говоря, не воспоминание, а рана. Но это — так, между прочим, безотносительно. Еще отмечу, что мне теперь как то легче пишется, рассказ мой тронулся: я уже попал на тот автобус, о котором упоминалось в начале, и еду не стоя, а сидя, со всеми удобствами, у окна. Так по утрам я ездил в контору, покамест не приобрел автомобиля.

Ему в то лето пришлось малость пошевелиться, — да, я увлекся этой блестящей синей игрушкой. Мы с женой часто закатывались на весь день за город. Обыкновенно забирали с собой Ардалиона, добродушного и бездарного художника, двоюродного брата жены. По моим соображениям, он был беден, как воробей; если кто-либо и заказывал ему свой портрет, то из милости, а не то — по слабости воли (Ардалион бывал невыносимо настойчив). У меня, и вероятно у Лиды, он брал взаймы по полтиннику, по марке, — и уж конечно норовил у нас пообедать. За комнату он не платил месяцами или платил мертвой натурой, — какими-нибудь квадратными яблоками, рассыпанными по косо́й скатерти, или малиновой сиренью в набокой вазе с бликом. Его хозяйка обрамляла все это на свой счет; ее столовая походила на картинную выставку. Питался он в русском кабачке, который когда-то “раздраконил”: был он москвич и любил слова этикие густые, с искрой, с пошлейшей московской прищуринкой. И вот, несмотря на свою нищету, он каким-то образом ухитрился приобрести небольшой участок в трех часах езды от Берлина, — вернее, внес первые сто марок, будущие взносы его не беспокоили, ни гроша больше он не собирался выложить, считая, что эта полоса земли оплодотворена первым его платежом и уже принадлежит ему на веки вечные. Полоса была длиной в две с половиной теннисных площадки и упиралась в маленькое миловидное озеро. На ней росли две неразлучные березы (или четыре, если считать их отражения), несколько кустов крушины, да поодаль пятток сосен, а еще дальше в тыл — немного вереска: дань окрестного леса. Участок не был огорожен, — на это не хватило средств; Ардалион по-моему ждал, чтобы огородились оба смежных участка, автоматически узаконив пределы его владений и дав ему даровой часток; но эти соседние полосы еще не были проданы, — вообще продажа шла туго в данном месте: сыро, комары, очень далеко от деревни, а дороги к шоссе еще нет, и когда ее проложат неизвестно.

Первый раз мы побывали там (поддавшись восторженным угворам Ардалиона) в середине июня. Помню, воскресным утром мы заехали за ним, я стал трубить, глядя на его окно. Окно спало крепко. Лида сделала рупор из рук и крикнула: “Ардалио-ша!” Яростно метнулась штора в одном из нижних окон, над вывеской пивной, вид которой почему-то наводил меня на мысль, что Ардалион там задолжал немало, — метнулась, говорю я, штора, и сердито выглянул какой-то старый бисмарк в халате.

Оставив Лиду в отдрожавшем автомобиле, я пошел поднимать Ардалиона. Он спал. Он спал в купальном костюме. Выкатившись из постели, он молча и быстро надел тапочки, натянул на купальное трико фланелевые штаны и синюю рубашку, захватил портфель с подозрительным вздутием, и мы спустились. Торжественно сонное выражение мало красило его толстоносое лицо. Он был посажен сзади, на тещино место.

Я дороги не знал. Он говорил, что знает ее, как Отче Наш. Едва выехав из Берлина, мы стали плутать. В дальнейшем пришлось справляться: останавливались, спрашивали и потом поворачивали посреди неведомой деревни; маневрируя, наезжали задними колесами на кур; я не без раздражения сильно раскручивал руль, выпрямляя его, и, дернувшись, мы устремлялись дальше.

“Узнаю мои владения! — воскликнул Ардалион, когда около полудня мы проехали Кенигсдорф и попали на знакомое ему шоссе. — Я вам укажу, где свернуть. Привет, привет, столетние деревья!”

“Ардалиончик, не валяй дурака”, — мирно сказала Лида.

По сторонам шоссе тянулись бугристые пустыни, вереск и песок, кое-где мелкие сосенки. Потом все это немножко пригладилось — поле как поле, и за ним темная опушка леса. Ардалион хлопотал снова. На краю шоссе, справа, вырос ярко-желтый столб, и в этом месте от шоссе исходила под прямым углом едва заметная дорога, призрак старой дороги, почти сразу выдыхающейся в хвощах и диком овсе.

“Сворачивайте”, — важно сказал Ардалион и, невольно крякнув, навалился на меня, ибо я затормазил.

Ты улыбнулся, читатель. В самом деле — почему бы и не улыбнуться: приятный летний день, мирный пейзаж, добродушный дурак-художник, придорожный столб. О, этот желтый столб... Поставленный дельцом, продающим земельные участки, торчащий в ярком одиночестве, блудный брат других охряных столбов, которые в семи верстах отсюда, поближе к деревне Вальдау, стояли на страже более дорогих и соблазнительных десятин, — он, этот одинокий столб, превратился для меня впоследствии в навязчивую идею. Отчетливо-желтый среди размазанной природы, он выросал в моих снах. Мои видения по нем ориентировались. Все мысли мои

возвращались к нему. Он сиял верным огнем во мраке моих предположений. Мне теперь кажется, что увидев его впервые я как бы его узнал: он мне был знаком по будущему. Быть может, я ошибаюсь, быть может я взглянул на него равнодушно и только думал о том, чтобы сворачивая не задеть его крылом автомобиля, — но все равно: теперь, вспоминая его, не могу отделить это первое знакомство с ним от его созревшего образа.

Дорога, как я уже сказал, затерялась, стерлась; автомобиль недовольно заскрипел, прыгая на кочках; я застопорил и пожал плечами.

Лида сказала: “Знаешь, Ардалиоша, мы лучше поедem прямо по шоссе в Вальдау, — ты говорил, там большое озеро, кафе”.

“Ни в коем случае, — взволнованно возразил Ардалион. — Во-первых, там кафе только проектируется, а, во-вторых, у меня тоже есть озеро. Будьте любезны, дорогой, — обратился он ко мне, — двиньте дальше вашу машину, не пожалеете”.

Впереди, шагах в трехстах, начинался сосновый бор. Я посмотрел туда и, клянусь, почувствовал, что все это уже знаю! Да, теперь я вспомнил ясно: конечно, было у меня такое чувство, я его не выдумал задним числом, и этот желтый столб... он многозначительно на меня посмотрел, когда я оглянулся, — и как будто сказал мне: я тут, я к твоим услугам, — и стволы сосен впереди, словно обтянутые красноватой змеиной кожей, и мохнатая зелень их хвоя, которую против шерсти гладил ветер, и голая береза на опушке... почему голая? ведь это еще не зима, — зима была еще далеко, — стоял мягкий, почти безоблачный день, тянули “зе-зе-зе”, срываясь, заики-кузнечики... да, все это было полно значения, все это было недаром...

“Куда, собственно, прикажете двинуться? Я дороги не вижу”.

“Нечего миндальничать, — сказал Ардалион. — Жарьте, дорогуша. Ну, да, прямо. Вон туда, к тому просвету. Вполне можно пробиться. А там уж лесом недалеко”.

“Может быть, выйдем и пойдем пешком”, — предложила Лида.

“Ты права, — сказал я, — кому придет в голову украсть новенький автомобиль”.

“Да это опасно, — тотчас согласилась она, — тогда, может быть вы вдвоем (Ардалион застонал), он тебе покажет свое имение, а я вас здесь подожду, а потом поедem в Вальдау, выкупаемcя, посидим в кафе”.

“Это свинство, барыня, — с чувством сказал Ардалион. — Мне же хочется принять вас у себя, на своей земле. Для вас заготовлены кое-какие сюрпризы. Меня обижают”.

Я пустил мотор и одновременно сказал: “Но если сломаем машину, отвечаете вы”.

Я подскакивал, рядом подскакивала Лида, сзади подскакивал Ардалион и говорил: “Мы сейчас (гоп) въедем в лес (гоп), и там (гоп-гоп) по вереску пойдет легче (гоп)”.

Въехали. Сначала застряли в зыбучем песке, мотор ревел, колеса лягались, наконец — выскочили; затем ветки пошли хлестать по крыльям, по кузову, царапая лак. Наметилось впрочем что-то вроде тропы, которая то обростала сухо хрустящим вереском, то выпрастывалась опять, изгибаясь между тесных стволов.

“Правее, — сказал Ардалион, — капельку правее, сейчас приедем. Чувствуете, какой расчудесный сосновый дух — роскошь! Я предсказывал, что будет роскошно. Вот теперь можно остановиться. Я пойду на разведку”.

Он вылез и, вдохновенно вертя толстым задом, зашагал в чашу.

“Погоди, я с тобой!” — крикнула Лида, но он уже шел во весь парус, и вот исчез за деревьями.

Мотор поцыкал и смолк.

“Какая глушь, — сказала Лида, — я бы, знаешь, боялась остаться здесь одна. Тут могут ограбить, убить, все что угодно”.

Действительно, место было глухое. Сдержанно шумели сосны, снег лежал на земле, в нем чернели проплешины... Ерунда, — откуда в июне снег? Его бы следовало вычеркнуть. Нет, — грешно. Не я пишу, — пишет моя нетерпеливая память. Понимайте, как хотите, — я не при чем. И на желтом столбе была мурмолка снега. Так просвечивает будущее. Но довольно, да будет опять в фокусе летний день: пятна солнца, тени ветвей на синем автомобиле, сосновая шишка на подножке, где некогда будет стоять предмет весьма неожиданный: кисточка для бритья.

“На какой день мы с ними условились? — спросила жена.

Я ответил: “На среду вечером”.

Молчание.

“Я только надеюсь, что они ее не приведут опять”, — сказала жена.

“Ну, приведут... Не все ли тебе равно?”

Молчание. Маленькие голубые бабочки над тимьяном.

“А ты уверен, Герман, что в среду?”

(Стоит ли раскрывать скобки? Мы говорили о пустяках, — о каких-то знакомых, имелась в виду собачка, маленькая и злая, которую в гостях все занимались, Лида любила только “больших породистых псов”, на слове “породистых” у нее раздувались ноздри).

“Что же это он не возвращается? Наверное заблудился” .

Я вышел из автомобиля, походил кругом. Исцарапан.

Лида от нечего делать ощупала, а потом приоткрыла Ардалионов портфель. Я отошел в сторонку, — не помню, не помню, о чем думал; посмотрел на хворост под ногами, вернулся. Лида сидела

на подножке автомобиля и посвистывала. Мы оба закурили. Молчание. Она выпускала дым боком, кривя рот.

Издалека донесся сочный крик Ардалиона. Минуту спустя он появился на прогалине и замахал, приглашая нас следовать. Медленно поехали, объезжая стволы. Ардалион шел впереди, деловито и уверенно. Вскоре блеснуло озеро.

Его участок я уже описал. Он не мог мне указать точно его границы. Ходил большими твердыми шагами, отмеривая метры, оглядывался, припав на согнутую ногу, качал головой и шел отыскивать какой-то пень, служивший ему приметой. Березы гляделись в воду, плавал какой-то пух, лоснились камыши. Ардалионовым сюрпризом оказалась бутылка водки, которую впрочем Лида уже успела спрятать. Смеялась, подпрыгивала, в тесном палевом трико с двуцветным, красным и синим, ободком, — прямо крокетный шар. Когда вдоволь накатавшись верхом на медленно плававшем Ардалионе (“Не щиплись, матушка, а то свалю”), покричав и пофыркав, она выходила из воды, ноги у нее делались волосатыми, но потом высыхали и только слегка золотились. Ардалион крестился прежде чем нырнуть, вдоль голени был у него здоровенный шрам — след гражданской войны, из проймы его ужасного вытянутого трико то и дело выскакивал нательный крест мужицкого образца.

Лида, старательно намазавшись кремом, легла навзничь, представляя себя в распоряжение солнца. Мы с Ардалионом расположились по-близости, под лучшей его сосной. Он вынул из печально похудевшего портфеля тетрадь ватманской бумаги, карандаши, и через минуту я заметил, что он рисует меня.

“У вас трудное лицо”, — сказал он, щурясь.

“Ах, покажи”, — крикнула Лида, не шевельнув ни одним членом.

“Повыше голову, — сказал Ардалион, — вот так, достаточно”.

“Ах покажи”, — снова крикнула она погодя.

“Ты мне прежде покажи, куда ты запендрячила мою водку”, — недовольно проговорил Ардалион.

“Дудки, — ответила Лида. — Ты при мне пить не будешь”.

“Вот чудачка. Как вы думаете, она ее правда закопала? Я собственно хотел с вами, сэр, выпить на брудершафт”.

“Ты у меня отучишься пить”, — крикнула Лида, не поднимая глянцевого века.

“Стерва”, — сказал Ардалион.

Я спросил: “Почему вы говорите, что у меня трудное лицо? В чем его трудность?”

“Не знаю, — карандаш не берет. Надобно попробовать углем или маслом”.

Он стер что-то резинкой, сбил пыль суставами пальцев, накрепил голову.

“У меня по-моему очень обыкновенное лицо. Может быть, вы попробуете нарисовать меня в профиль?”

“Да, в профиль!” — крикнула Лида (все так же распятая на земле).

“Нет, обыкновенным его назвать нельзя. Капельку выше. Напротив, в нем есть что-то странное. У меня все ваши линии уходят из-под карандаша. Раз, — и ушла”.

“Такие лица, значит, встречаются редко, — вы это хотите сказать?”

“Всякое лицо — уникам”, — произнес Ардалион.

“Ох, сгораю”, — простонала Лида, но не двинулась.

“Но позвольте, при чем тут уникам? Ведь, во-первых, бывают определенные типы лиц, — зоологические, например. Есть люди с обезьяньими чертами, есть крысиный тип, свиной... А затем — типы знаменитых людей, — скажем, Наполеоны среди мужчин, королевы Виктории среди женщин. Мне говорили, что я смахиваю на Амундсена. Мне приходилось не раз видеть носы а ля Лев Толстой. Ну еще бывает тип художественный, — иконописный лик, мадоннообразный. Наконец, — бытовые, профессиональные типы...”

“Вы еще скажите, что все японцы между собою схожи. Вы забываете, синьор, что художник видит именно разницу. Сходство видит профан. Вот Лида вскрикивает в кинематографе: Мотри, как похожа на нашу горничную Катю!”

“Ардалиончик, не остри”, — сказала Лида.

“Но согласитесь, — продолжал я, — что иногда важно именно сходство”.

“Когда прикупаешь подсвечник”, — сказал Ардалион.

Нет нужды записывать дальше этот разговор. Мне страстно хотелось, чтобы дурак заговорил о двойниках, — но я этого не добился. Через некоторое время он спрятал тетрадь, Лида умоляла показать ей, он требовал в награду возвращения водки, она отказалась, он не показал. Воспоминание об этом дне кончается тем, что растворяется в солнечном тумане, — или переплетается с воспоминанием о следующих наших поездках туда. А ездили мы не раз. Я тяжело и мучительно привязался к этому уединенному лесу с горящим в нем озером. Ардалион непременно хотел познакомить меня с директором предприятия и заставить меня купить соседний участок, но я отказывался, да если и было бы желание купить, я бы все равно не решился, — мои дела пошли тем летом неважно, все мне как-то опостылело, скверный мой шоколад меня разорял. Но честное слово, господа, честное слово, — не корысть, не только корысть, не только желание дела свои поправить... Впрочем, незачем забегать вперед.

ГЛАВА III

Как мы начнем эту главу? Предлагаю на выбор несколько вариантов. Вариант первый, — он встречается часто в романах, ведущихся от лица настоящего или подставного автора:

День нынче солнечный, но холодный, все так же бушует ветер, ходуном ходит вечно-зеленая листва за окнами, почтальон идет по шоссе задом наперед, придерживая фуражку. Мне тягостно...

Отличительные черты этого варианта довольно очевидны: ведь ясно, что пока человек пишет, он находится где-то в определенном месте, — он не просто некий дух, витающий над страницей. Пока он вспоминает и пишет, что-то происходит вокруг него, — вот как сейчас этот ветер, эта пыль на шоссе, которую вижу в окно (почтальон повернулся и, согнувшись, продолжая бороться, пошел вперед). Вариант приятный, освежительный, передышка, переход к личному, это придает рассказу жизненность, особенно когда первое лицо такое же выдуманное, как и все остальные. То-то и оно: этим приемом злоупотребляют, литературные выдумщики измочалили его, он не подходит мне, ибо я стал правдив. Обратимся теперь ко второму варианту. Он состоит в том, чтобы сразу ввести нового героя, — так и начать главу:

Орловиус был недоволен.

Когда он бывал недоволен, или озабочен, или просто не знал, что ответить, он тянул себя за длинную мочку левого уха, с седым пушком по краю, — а потом за длинную мочку правого, — чтоб не завидовало, — и смотрел вверх своих простых честных очков на собеседника, и медлил с ответом, и наконец отвечал: Тяжело сказать, но мне кажется — —

“Тяжело” значило у него “трудно”. Буква “л” была у него как лопата.

Опять же и этот второй вариант начала главы — прием популярный и доброкачественный, — но он как то слишком щеголеват, да и не к лицу суровому, застенчивому Орловиусу бойко растворять ворота главы. Предлагаю вашему вниманию третий вариант:

Между тем... (пригласительный жест многоточия).

В старину этот прием был баловнем биоскопа, сиречь иллюзиона, сиречь кинематографа. С героем происходит (в первой картине) то-то и то-то, а между тем... Многоточие, — и действие переносится в деревню. Между тем... Новый абзац:

...по раскаленной дороге, стараясь держаться в тени яблонь, когда попадались по краю их кривые ярко беленые стволы...

Нет, глупости — он странствовал не всегда. Фермеру бывал нужен лишний батрак, лишняя спина требовалась на мельнице. Я плохо представляю себе его жизнь, — я никогда не бродяжничал. Больше всего мне хотелось вообразить, какое осталось у него впечатление от одного майского утра на чахлой траве за Прагой. Он проснулся. Рядом с ним сидел и глядел на него прекрасно одетый господин, который, пожалуй, даст папиросу. Господин оказался немцем. Стал приставать, — может быть, совсем нормален, — совал зеркальце, ругался. Выяснилось, что речь идет о сходстве. Сходство так сходство. Я не при чем. Может быть, он даст мне легкую работу. Вот адрес. Как знать, может быть что-нибудь и выйдет.

“Послушай-ка ты (разговор на постоялом дворе теплой и темной ночью), какого я чудака встретил однажды. Выходило, что мы двойники”.

Смех в темноте: “Это у тебя двоилось в глазах, пьянчуга”.

Тут вкрался еще один прием: подражание переводным романам из быта веселых бродяг, добрых парней. У меня спутались все приемы.

А знаю я все, что касается литературы. Всегда была у меня эта страстишка. В детстве я сочинял стихи и длинные истории. Я никогда не воровал персиков из теплиц лужского помещика, у которого мой отец служил в управляющих, никогда не хоронил живьем кошек, никогда не выворачивал рук более слабым сверстникам, но сочинял тайно стихи и длинные истории, ужасно и непоправимо, и совершенно зря порочившие честь знакомых, — но этих историй я не записывал и никому о них не говорил. Дня не проходило, чтобы я не налгал. Лгал я с упоением, самозабвенно, наслаждаясь той новой жизненной гармонией, которую создавал. За такую соловьиновую ложь я получал от матушки в левое ухо, а от отца бычьей жилой по задку. Это ни мало не печалило меня, а скорее служило толчком для дальнейших вымыслов. Оглухший на одно ухо, с огненными ягодицами, я лежал ничком в сочной траве под фруктовыми деревьями и посвистывал, беспечно мечтая. В школе мне ставили за русское сочинение неизменный кол, оттого что я по своему пересказывал действия наших классических героев: так, в моей передаче “Выстрела” Сильвио наповал без лишних слов убивал любителя черешен и с ним — фабулу, которую я впрочем знал отлично. У меня завелся револьвер, я мелом рисовал на осиновых стволах в лесу кричащие белые рожи и деловито расстреливал их. Мне нравилось — и до сих пор нравится — ставить слова в глупое положение, сочетать их шутовской свадьбой каламбура, выворачивать наизнанку, заставить их врасплох. Что делает советский ветер

в слове ветеринар? Откуда томат в автомате? Как из зубра сделать арбуз? В течение нескольких лет меня преследовал курьезнейший и неприятнейший сон, — будто нахожусь в длинном коридоре, в глубине — дверь, — и страстно хочу, не смею, но наконец решаюсь к ней подойти и ее отворить; отворив ее, я со стоном просыпался, ибо за дверью оказывалось нечто невообразимо страшное, а именно: совершенно пустая, голая, заново выбеленная комната, — больше ничего, но это было так ужасно, что невозможно было выдержать. С седьмого класса я стал довольно аккуратно посещать веселый дом, там пил пиво. Во время войны я прозябал в рыбацком поселке неподалеку от Астрахани, и, кабы не книги, не знаю, перенес ли бы эти невзрачные годы. С Лидой я познакомился в Москве (куда пробрался чудом сквозь мерзкую гражданскую суету), на квартире случайного приятеля-латыша, у которого жил, — это был молчаливый белолицый человек, со стоявшими дыбом короткими жесткими волосами на кубическом черепе и рыбьим взглядом холодных глаз, — по специальности латинист, а впоследствии довольно видный советский чиновник. Там обитало несколько людей — все случайных, друг с другом едва знакомых, — и между прочим родной брат Ардалиона, а Лидин двоюродный брат, Иннокентий, уже после нашего отъезда за что-то расстрелянный. Собственно говоря, все это подходит скорее для начала первой главы, а не третьей...

Хохоча, отвечая находчиво,
(отлучиться ты очень не прочь!),
от лучей, от отчаянья отчего,
Отчего ты отчалила в ночь?

Мое, мое, — опыты юности, любовь к бессмысленным звукам... Но вот что меня занимает: были ли у меня в то время какие-либо преступные, в кавычках, задатки? Таила-ли моя, с виду серая, с виду незамысловатая, молодость возможность гениального беззакония? Или может быть я все шел по тому обыкновенному коридору, который мне снился, вскрикивал от ужаса, найдя комнату пустой, — но однажды, в незабвенный день, комната оказалась не пуста, — там встал и пошел мне навстречу мой двойник. Тогда оправдалось все: и стремление мое к этой двери, и странные игры, и бесцельная до тех пор склонность к ненасытной, кропотливой лжи. Герман нашел себя. Это было, как я имел честь вам сообщить, девятого мая, а уже в июле я посетил Орловиуса.

Он одобрил принятое мной и тут же осуществленное решение, которое к тому же он сам давно советовал мне принять. Неделю спустя я пригласил его к нам обедать. Заложил угол салфетки с боку за воротник. Принимаясь за суп, выразил неудовольствие по поводу политических событий. Лида ветренно спросила его, будет

ли война, и с кем. Он посмотрел на нее поверх очков, медля ответом (таким приблизительно он просквозил в начале этой главы), и наконец ответил:

“Тяжело сказать, но мне кажется, что это исключено. Когда я молод был, я пришел на идею предположить только самое лучшее (“лучшее” у него вышло чрезвычайно грустно и жирно). Я эту идею держу с тех пор. Главная вещь у меня, это — оптимизм”.

“Что как раз необходимо при вашей профессии”, — сказал я с улыбкой.

Он исподлобья посмотрел на меня и серьезно ответил:

“Но пессимизм дает нам клиентов”.

Конец обеда был неожиданно увенчан чаем в стаканах. Лиде это почему-то казалось очень ловким и приятным. Орловиус, впрочем, был доволен. Степенно и мрачно рассказывая о своей старухе-матери, жившей в Юрьеве, он приподнимал стакан и мешал оставшийся в нем чай немецким способом, т. е. не ложкой, а круговым взбалтывающим движением кисти, дабы не пропал осевший на дно сахар.

Договор с его агентством был с моей стороны действием, я бы сказал, полусонным и странно незначительным. Я стал о ту пору угрюм, неразговорчив, туманен. Моя ненаблюдательная жена, и та заметила некоторую во мне перемену. “Ты устал, Герман. Мы в августе поедим к морю”, — сказала она как-то среди ночи, — нам не спалось, было невыносимо душно, даром что окно было открыто настежь.

“Мне вообще надоела наша городская жизнь”, — сказал я. Она в темноте не могла видеть мое лицо. Через минуту:

“Вот тетя Лиза, та, что жила в Иксе, — есть такой город — Икс? Правда?”

“Есть”.

“... живет теперь, — продолжала она, — не в Иксе, а около Ниццы, вышла замуж за француза-старика, и у них ферма”.

Зевнула.

“Мой шоколад, матушка, к черту идет”, — сказал я и зевнул тоже.

“Все будет хорошо, — пробормотала Лида. — Тебе только нужно отдохнуть”.

“Переменить жизнь, а не отдохнуть”, — сказал я с притворным вздохом.

“Переменить жизнь”, — сказала Лида.

Я спросил: “А ты бы хотела, чтобы мы жили где-нибудь в тишине, на солнце? чтобы никаких дел у меня не было? честными рантье?”

“Мне с тобой всюду хорошо, Герман. Прихватили бы Ардалиона, купили бы большого пса...”

Помолчали.

“К сожалению, мы никуда не поедem. С деньгами — швах. Мне вероятно придется шоколад ликвидировать”.

Прошел запоздалый пешеход. Стук. Опять стук. Он, должно быть, ударял тростью по столбам фонарей.

“Отгадай: мое первое значит “жарко” по-французски. На мое второе сажают турка, мое третье — место, куда мы рано или поздно попадем. А целое — то, что меня разоряет”.

С шелестом прокатил автомобиль.

“Ну что — не знаешь?”

Но моя дура уже спала. Я закрыл глаза, лег на-бок, хотел заснуть тоже, но не удалось. Из темноты навстречу мне, выставив челюсть и глядя мне прямо в глаза, шел Феликс. Дойдя до меня, он растворялся, и передо мной была длинная пустая дорога: изда- лека появлялась фигура, шел человек, стуча тростью по стволам придорожных деревьев, приближался, я всматривался, и, выставив челюсть и глядя мне прямо в глаза, — — он опять растворялся, дойдя до меня, или вернее войдя в меня, пройдя сквозь меня, как сквозь тень, и опять выжидательно тянулась дорога, и появлялась вдаль фигура и опять это был он. Я поворачивался на другой бок, некоторое время все было темно и спокойно, — ровная чернота; но постепенно намечалась дорога — в другую сторону, — и вот возник перед самым моим лицом, как будто из меня выйдя, затылок человека, с заплечным мешком грушей, он медленно уменьшался, он уходил, уходил, сейчас уйдет совсем, — но вдруг, обернувшись, он останавливался и возвращался, и лицо его становилось все яснее, и это было мое лицо. Я ложился навзничь, и, как в темном стекле, протягивалось надо мной лаковое черно-синее небо, полоса неба между траурными купами деревьев, медленно шедшими вспять справа и слева, — а когда я ложился ничком, то видел под собой убитые камни дороги, движущейся как конвейер, а потом выбоину, лужу, и в луже мое, исковерканное ветровой рябью, дрожащее, тусклое лицо, — и я вдруг замечал, что глаз на нем нет.

“Глаза я всегда оставляю напоследок”, — самодовольно сказал Ардалион. Держа перед собой и слегка отстраняя начатый им портрет, он так и этак наклонял голову. Приходил он часто и затеял написать меня углем. Мы обычно располагались на балконе. Досуга у меня было теперь вдоволь, — я устроил себе нечто вроде небольшого отпуска. Лида сидела тут же, в плетеном кресле, и читала книгу; полураздавленный окуроч — она никогда не добивала окурочков — с живучим упорством пускал из пепельницы вверх тонкую, прямую струю дыма; маленькое воздушное замешательство, и опять — прямо и тонко.

“Мало похоже”, — сказала Лида, не отрываясь впрочем от чтения.

“Будет похоже, — возразил Ардалион. — Вот сейчас подправим эту ноздрю, и будет похоже. Сегодня свет какой-то неинтересный”.

“Что неинтересно?” — спросила Лида, подняв глаза и держа палец на прерванной строке.

И еще один кусок из жизни того лета хочу предложить твоему вниманию, читатель. Прощения прошу за несвязность и пестроту рассказа, но повторяю, не я пишу, а моя память, и у нее свой нрав, свои законы. Итак, я опять в лесу около Ардалионова озера, но приехал я на этот раз один, и не в автомобиле, а сперва поездом до Кенигсдорфа, потом автобусом до желтого столба. На карте, как-то забытой Ардалионом у нас на балконе, очень ясны все приметы местности. Предположим, что я держу перед собой эту карту; тогда Берлин, неуместившийся на ней, находится примерно у сгиба левой моей руки. На самой карте, в юго-западном углу, продолжается черно-белым живчиком железно-дорожный путь, который в подразумеваемом виде идет по левому моему рукаву из Берлина. Живчик упирается в этом юго-западном углу карты в городок Кенигсдорф, а затем черно-белая ленточка поворачивает, излучисто идет на восток, и там — новый кружок: Айхенберг. Но покамест нам незачем ехать туда, вылезаем в Кенигсдорфе. Разлучившись с железной дорогой, повернувшей на восток, тянется прямо на север, к деревне Вальдау, шоссе, дорога. Раза три в день отходит из Кенигсдорфа автобус и идет в Вальдау (семнадцать километров), где, кстати сказать, находится центр земельного предприятия: пестрый павильончик, веселый флаг, много желтых указательных столбов, — один например со стрелкой “К пляжу”, — но еще никакого пляжа нет, а только болотце вдоль большого озера; другой с надписью “К казино”, но и его нет, а есть что-то вроде скинии и зачаточный буфет; третий, наконец, приглашающий к спортивному плацу, и там действительно выстроены новые, сложные, гимнастические виселицы, которыми некому пользоваться, если не считать какого-нибудь крестьянского мальчишки, перегнувшегося головой вниз с трапеции и показывающего заплату на задку; кругом же, во все стороны, участки, — некоторые наполовину куплены, и по воскресеньям можно видеть толстяков в купальных костюмах и роговых очках, сосредоточенно строящих хижину; кое-где даже посажены цветы, или стоит кокетливо раскрашенная будка-ретирада.

Но мы и до Вальдау не доедем, а покинем автобус на десятой версте от Кенигсдорфа, у одинокого желтого столба. Теперь обратимся опять к карте: направо, то есть на восток от шоссе, тянется большое пространство, все в точках, — это лес; в нем находится то малое озеро, по западному берегу которого, точно игральные карты веером, — дюжина участков, из коих продан только один — Ардалиону — (и то условно). Близимся к самому интересному пункту. Мы вначале упомянули о станции Айхенберг, следующей после

Кенигсдорфа к востоку. И вот, спрашивается: можно ли добраться пешком от маленького Ардалионова озера до Айхенберга? Можно. Следует обогнуть озеро с южной стороны и дальше — прямо на восток лесом. Пройдя лесом четыре километра, мы выходим на деревенскую дорогу, один конец которой ведет неважно куда, — в ненужные нам деревни, другой же приводит в Айхенберг.

Жизнь моя исковеркана, спутана, — а я тут валяю дурака с этими веселенькими описаньицами, с этим уютным множественным числом первого лица, с этим обращением к туристу, к дачнику, к любителю окрошки из живописных зеленей. Но потерпи, читатель. Я недаром поведу тебя сейчас на прогулку. Эти разговоры с читателем тоже ни к чему. Апарте в театре, или красноречивый шип: “Чу! Сюда идут...”

Прогулка... Я вышел из автобуса у желтого столба. Автобус удалился, в нем остались три старухи, черных в мелкую горошинку, мужчина в бархатном жилете, с косой, обернутой в рогожу, девочка с большим пакетом и господин в пальто, со съехавшим на-бок механическим галстуком, с беременным саквояжем на коленях, — вероятно ветеринар. В молочаях и хвощах были следы шин, — мы тут проезжали, прыгая на кочках, уже несколько раз с Лидой и Ардалионом. Я был в гольфных шароварах, или по-немецки кникербокерах. Я вошел в лес. Я остановился в том месте, где мы однажды с женой ждали Ардалиона. Я выкурил там папиросу. Я посмотрел на дымок, медленно растянувшийся, затем давший призрачную складку и растаявший в воздухе. Я почувствовал спазму в горле. Я пошел к озеру и заметил на песке смятую черную с оранжевым бумажку (Лида нас снимала). Я обогнул озеро с южной стороны и пошел густым сосняком на восток. Я вышел через час на дорогу. Я зашагал по ней и пришел еще через час в Айхенберг. Я сел в дачный поезд. Я вернулся в Берлин.

Однообразную эту прогулку я проделал несколько раз и никогда не встретил в лесу ни одной души. Глушь, тишина. Покупателей на участки у озера не было, да и все предприятие хирело. Когда мы ездили туда втроем, то бывали весь день совершенно одни, купаться можно было хоть нагишом; помню, кстати, как однажды Лида, по моему требованию, все с себя сняла, и очень мило смеясь и краснея, позировала Ардалиону, который вдруг обиделся на что-то, — вероятно на собственную бездарность, — и бросил рисовать, пошел на поиски боровиков. Меня же он продолжал писать упорно, — это длилось весь август. Не справившись с честной чертой угля, он почему-то перешел на подленькую пастель. Я поставил себе некий срок: окончание портрета. Наконец запахло дюшессовой сладостью лака, портрет был обрамлен, Лида дала Ардалиону двадцать марок, — ради шику в конверте. У нас были гости, — между прочим Орловиус, — мы все стояли и глазели — на что? На розовый ужас

моего лица. Не знаю, почему он придал моим щекам этот фруктовый оттенок, — они бледны как смерть. Вообще сходства не было никакого. Чего стоила, например, эта ярко-красная точка в носовом углу глаза, или проблеск зубов из под ощеренной кривой губы. Все — это — на фасонистом фоне с намеками не то на геометрические фигуры, не то на виселицы. Орловиус, который был до глупости близорук, подошел к портрету вплотную и, подняв на лоб очки (почему он их носил? они ему только мешали), с полуоткрытым ртом, замер, задышал на картину, точно собирался ею питаться. “Модерный штиль”, — сказал он наконец с отвращением и, перейдя к другой картине, стал так же добросовестно рассматривать и ее, хотя это была обыкновенная литография: остров мертвых.

А теперь, дорогой читатель, вообразим небольшую конторскую комнату в шестом этаже безличного дома. Машинистка ушла, я один. В окне — облачное небо. На стене — календарь, огромная, чем-то похожая на бычий язык, черная девятка: девятое сентября. На столе — очередные неприятности в виде писем от кредиторов и символически пустая шоколадная коробка с лиловой дамой, изменившей мне. Никого нет. Пишущая машинка открыта. Тишина. На страничке моей записной книжки — адрес. Малограмотный почерк. Сквозь него я вижу наклоненный восковой лоб, грязное ухо, из петлицы висит головкой вниз фиалка, с черным ногтем палец нажимает на мой серебряный карандаш.

Помнится, я стряхнул оцепенение, сунул книжку в карман, вынул ключи, собрался все запереть, уйти, — уже почти ушел, но остановился в коридоре с сильно бьющимся сердцем... уйти было невозможно... Я вернулся, я постоял у окна, глядя на противоположный дом. Там уже зажглись лампы, осветив конторские шкапы, и господин в черном, заложив одну руку за спину, ходил взад и вперед, должно-быть диктуя невидимой машинистке. Он то появлялся, то исчезал, и даже раз остановился у окна, соображая что-то, и опять повернулся, диктуя, диктуя, диктуя. Неумолимый! Я включил свет, сел, сжал виски. Вдруг бешено затрещал телефон, — но оказалось: ошибка, спутали номер. И потом опять тишина, и только легкое постукивание дождя, ускорявшего наступление ночи.

ГЛАВА IV

“Дорогой Феликс, я нашел для тебя работу. Прежде всего необходимо кое-что с глазу на глаз обсудить. Собираюсь быть по делу в Саксонии и, вот, предлагаю тебе встретиться со мной в Тарнице, — это недалеко от тебя. Отвечай незамедлительно, согласен ли ты в принципе. Тогда укажу день, час и точное место, а на дорогу пришлю тебе денег. Так как я все время в разъездах, и нет у меня постоянной квартиры, отвечай: “Ардалион” до востребования (следует адрес одного из берлинских почтамтов). До-свидания, жду. (Подписи нет)”.

Вот оно лежит передо мной, это письмо от девятого сентября тридцатого года, — на хорошей, голубоватой бумаге с водяным знаком в виде фрегата, — но бумага теперь смята, по углам смутные отпечатки, вероятно его пальцев. Выходит так, как будто я — получатель этого письма, а не его отправитель, — да в конце концов так оно и должно быть: мы переменились местами.

У меня хранятся еще два письма на такой же бумаге, но все ответы уничтожены. Будь они у меня, будь у меня например то глупейшее письмо, которое я с рассчитанной небрежностью показал Орловиусу (после чего и оно было уничтожено), можно было бы перейти на эпистолярную форму повествования. Форма почтенная, с традициями, с крупными достижениями в прошлом. От Икса к Игреку: Дорогой Икс, — и сверху непременно дата. Письма чередуются, — это вроде мяча, летающего через сетку туда и обратно. Читатель вскоре перестает обращать внимание на дату, — и действительно — какое ему дело, написано ли письмо девятого сентября или шестнадцатого, — но эти даты нужны для поддержания иллюзии. Так Икс продолжает писать Игреку, а Игрек Иксу на протяжении многих страниц. Иногда вступает какой-нибудь посторонний Зет, — вносит и свою эпистолярную лепту, однако только ради того, чтобы растолковать читателю (не глядя, впрочем, на него, оставаясь к нему в профиль) событие, которое без ущерба для естественности или по какой другой причине ни Икс, ни Игрек не могли бы в письме разъяснить. Да и они пишут не без оглядки, — все эти “Помнишь, как тогда-то и там-то...” (следует обстоятельное воспоминание) вводятся не столько для того, чтобы освежить память корреспондента, сколько для того, чтобы дать читателю нужную справку, — так что в общем картина получается

довольно комическая, — особенно, повторяю, смешны эти аккуратно выписанные и ни к черту ненужные даты, — и когда в конце вдруг протискивается Зет, чтобы написать своему личному корреспонденту (ибо в таком романе переписываются решительно все) о смерти Икса и Игрека или о благополучном их соединении, то читатель внезапно чувствует, что всему этому предпочел бы самое обыкновенное письмо от налогового инспектора. Вообще говоря, я всегда был наделен недюжинным юмором, — дар воображения связан с ним; горе тому воображению, которому юмор не сопутствует.

Одну минуточку. Я списывал письмо, и оно куда-то исчезло.

Могу продолжать, — соскользнуло под стол. Через неделю я получил ответ (пять раз заходил на почтамт и был очень нервен). Феликс сообщал мне, что с благодарностью принимает мое предложение. Как часто случается с полуграмотными, тон его письма совершенно не соответствовал тону его обычного разговора: в письме это был дрожащий фальцет с провалами витиеватой хрипоты, а в жизни — самодовольный басок с дидактическими низами. Я написал ему вторично, приложив десять марок и назначив ему свидание первого октября в пять часов вечера у бронзового всадника в конце бульвара, идущего влево от вокзальной площади в Тарнице. Я не помнил ни имени всадника (какой-то герцог), ни названия бульвара, но однажды, проезжая по Саксонии в автомобиле знакомого купца, застрял в Тарнице на два часа, — моему знакомому вдруг понадобилось среди пути поговорить по телефону с Дрезденом, — и вот, обладая фотографической памятью, я запомнил бульвар, статую и еще другие подробности, — это снимок небольшой, однако, знай я способ увеличить его, можно было бы прочесть, пожалуй, даже вывески, — ибо аппарат у меня превосходный.

Мое почтенное от шестнадцатого написано от руки, — я писал на почтамте, — так взволновался, получив ответ на мое почтенное от девятого, что не мог отложить до возможности настукать, — да и особых причин стесняться своих почерков (у меня их несколько) еще не было, — я знал, что в конечном счете получателем окажусь я. Отослав его, я почувствовал то, что чувствует, должно быть, полумертвый лист, пока медленно падает на поверхность воды.

Незадолго до первого октября как-то утром мы с женой проходили Тиргартеном и остановились на мостике, облокотившись на перила. В неподвижной воде отражалась гобеленовая пышность бурой и рыжей листвы, стеклянная голубизна неба, темные очертания перил и наших склоненных лиц. Когда падал лист, то навстречу ему из тенистых глубин воды летел неотвратимый двойник. Встреча их была беззвучна. Падал кружась лист, и кружась стремилось к нему его точное отражение. Я не мог оторвать взгляда от этих неизбежных встреч. “Пойдем”, — сказала Лида и вздохнула. “Осень, осень, — проговорила она погода, — осень. Да, это осень”.

Она уже была в меховом пальто, пестром, леопардовом. Я влекся сзади, на ходу пронзая тростью палые листья.

“Как славно сейчас в России”, — сказала она (то же самое она говорила ранней весной и в ясные зимние дни; одна летняя погода никак не действовала на ее воображение).

“... а есть покой и воля, давно завидная мечтается мне доля. Давно, усталый раб...”

“Пойдем, усталый раб. Мы должны сегодня раньше обедать”.

“... замыслил я побег. Замыслил. Я. Побег. Тебе, пожалуй, было бы скучно, Лида, без Берлина, без пошлостей Ардалиона?”

“Ничего не скучно. Мне тоже страшно хочется куда-нибудь, — солнышко, волнышки. Жить да поживать. Я не понимаю, почему ты его так критикуешь”.

“... давно завидная мечтается... Ах, я его не критикую. Между прочим, что делать с этим чудовищным портретом, не могу его видеть. Давно, усталый раб...”

“Смотри, Герман, верховые. Она думает, эта тетеха, что очень красива. Ну-же, идем. Ты все отстаешь, как маленький. Не знаю, я его очень люблю. Моя мечта была бы ему подарить денег, чтобы он мог съездить в Италию”.

“... Мечта. Мечтается мне доля. В наше время бездарному художнику Италия ни к чему. Так было когда-то, давно. Давно завидная...”

“Ты какой-то сонный, Герман. Пойдем чуточку шибче, пожалуйста”.

Буду совершенно откровенен. Никакой особой потребности в отдыхе я не испытывал. Но последнее время так у нас с женой завелось. Чуть только мы оставались одни, я с тупым упорством направлял разговор в сторону “обитатели чистых нег”. Между тем я с нетерпением считал дни. Отложил я свидание на первое октября, дабы дать себе время одуматься. Мне теперь кажется, что если бы я одумался и не поехал в Тарниц, то Феликс до сих пор ходил бы вокруг бронзового герцога, присаживаясь изредка на скамью, чертя палкой те земляные радуги слева направо и справа налево, что чертит всякий, у кого есть трость и досуг, — вечная привычка наша к округности, в которой мы все заключены. Да, так бы он сидел до сегодняшнего дня, а я бы все помнил о нем, с дикой тоской и страстью, — огромный ноющий зуб, который нечем вырвать, женщина, которой нельзя обладать, место, до которого в силу особой топографии кошмаров никак нельзя добраться.

Тридцатого вечером, накануне моей поездки, Ардалион и Лида раскладывали кабалу, а я ходил по комнатам и гляделся во все зеркала. Я в то время был еще в добрых отношениях с зеркалами. За две недели я отпустил усы, — это изменило мою наружность к худшему: над бескровным ртом топорщилась темно-рыжеватая щетина

с непристойной проплешинкой посредине. Было такое ощущение, что эта щетина приклеена, — а не то мне казалось, что на губе у меня сидит небольшое жесткое животное. По ночам, в полудремоте, я хватался за лицо, и моя ладонь его не узнавала. Ходил, значит, по комнатам, курил, и из всех зеркал на меня смотрела испуганно серьезными глазами наспех загримированная личность. Ардалион в синей рубашке с каким-то шотландским галстуком хлопал картами, будто в кабаке. Лида сидела к столу боком, заложив ногу на ногу, — юбка поднялась до поджилок, — и выпускала папиросный дым вверх, сильно выпятив нижнюю губу и не спуская глаз с карт на столе. Была черная ветреная ночь, каждые несколько секунд промахивал над крышами бледный луч радиобашни, — световой тик, тихое безумие прожектора. В открытое узкое окно ванной комнаты доносился из какого-то окна во дворе сдобный голос громковещателя. В столовой лампа освещала мой страшный портрет. Ардалион в синей рубашке хлопал картами, Лида облокотилась на стол, дымилась пепельница. Я вышел на балкон. “Закрой, дует”, — раздался из столовой Лидин голос. От ветра мигали и шурились осенние звезды. Я вернулся в комнату.

“Куда наш красавец едет?” — спросил Ардалион, неизвестно к кому обращаясь.

“В Дрезден”, — ответила Лида. Они теперь играли в дураки.

“Мое почтение Сикстинской, — сказал Ардалион. — Этого, кажется, я не покрою. Этого, кажется — — Так, потом так, а это я принял”.

“Ему бы лечь спать, он устал, — сказала Лида. — Послушай, ты не имеешь права подсматривать, сколько осталось в колоде, — это нечестно”.

“Я машинально, — сказал Ардалион. — Не сердись, голуба. А надолго он едет?”

“И эту тоже, Ардалиоша, эту тоже, пожалуйста, — ты ее не покрыв”.

Так они продолжали долго, говоря то о картах, то обо мне, как будто меня не было в комнате, как будто я был тенью или бессловесным существом, — и эта их шуточная привычка, оставлявшая меня прежде равнодушным, теперь казалась мне полной значения, точно я и вправду присутствую только в качестве отражения, а тело мое — далеко.

На другой день, около четырех, я вышел в Тарнице. У меня был с собой небольшой чемодан, он стеснял свободу передвижения, — я принадлежу к породе тех мужчин, которые ненавидят нести что-либо в руках: щеголяя дорогими кожаными перчатками, люблю на-ходу свободно размахивать руками и топырить пальцы, — такая у меня манера, и шагаю я ладно, выбрасывая ноги носками

врозь, — не по росту моему маленькие, в идеально чистой и блестящей обуви, в мышинных гетрах, — гетры то-же что перчатки, — они придают мужчине добротное изящество, сродное особому кашэ дорожных принадлежностей высокого качества, — я обожаю магазины, где продаются чемоданы, их хруст и запах, девственность свиной кожи под чехлом, — но я отвлекся, я отвлекся, — я может быть хочу отвлечься, — но все равно, дальше, — я, значит, решил оставить сначала чемодан в гостинице: в какой гостинице? Пересек, пересек площадь, озираясь, не только с целью найти гостиницу, а еще стараясь площадь узнать, — ведь я проезжал тут, вон там бульвар и почтамт... Но я не успел дать памяти поупражняться, — в глазах мелькнула вывеска гостиницы, — по бокам двери стояло по два лавровых деревца в кадках, — этот посул роскоши был обманчив, входившего сразу ошеломляла кухонная вонь, двое усатых простаков пили пиво у стойки, старый лакей, сидя на корточках и виляя концом салфетки, зажатой подмышкой, валял пузатого белого щенка, который вилял хвостом тоже. Я спросил комнату, предупредил, что у меня будет, может быть, ночевать брат, мне отвели довольно просторный номер с четой кроватей, с графином мертвой воды на круглом столе, как в аптеке. Лакей ушел, я остался в комнате один, звенело в ушах, я испытывал странное удивление. Двойник мой вероятно, уже в том же городе, что я, ждет уже, может быть. Я здесь представлен в двух лицах. Если бы не усы и разница в одежде, служащие гостиницы — — А может быть (продолжал я думать, соскакивая с мысли на мысль) он изменился и больше не похож на меня, и я понапрасну сюда приехал. “Дай Бог”, — сказал я с силой, — и сам не понял, почему я это сказал, — ведь сейчас весь смысл моей жизни заключался в том, что у меня есть живое отражение, — почему же я упомянул имя небытного Бога, почему вспыхнула во мне дурацкая надежда, что мое отражение исковеркано? Я подошел к окну, выглянул, — там был глухой двор, и с круглой спиной татарин в тюбетейке показывал босоногой женщине синий коврик. Женщину я знал, и татарина знал тоже, и знал эти лопухи, собравшиеся в одном углу двора, и воронку пыли, и мягкий напор ветра и бледное, селедочное небо; в эту минуту постучали, вошла горничная с постельным бельем, и когда я опять посмотрел на двор, это уже был не татарин, а какой-то местный оборванец, продающий подтяжки, женщины же вообще не было — но пока я смотрел, опять стало все соединяться, строиться, составлять определенное воспоминание, — выростали, теснясь, лопухи в углу двора, и рыжая Христина Форсман щупала коврик, и летел песок, — и я не мог понять, где ядро, вокруг которого все это образовалось, что именно послужило толчком, зачатием, — и вдруг я посмотрел на графин с мертвой водой, и он сказал “тепло”, — как в

игре, когда прячут предмет, — и я бы вероятно нашел в конце концов тот пустяк, который, бессознательно замеченный мной, мгновенно пустил в ход машину памяти, а может быть и не нашел бы, а просто все в этом номере провинциальной немецкой гостиницы, — и даже вид в окне, — было как-то смутно и уродливо схоже с чем-то уже виденным в России давным давно, — тут, однако, я спохватился, что пора идти на свидание, и, натягивая перчатки, поспешно вышел. Я свернул на бульвар, миновал почтамт. Дул ветер, и наискось через улицу летели листья. Несмотря на мое нетерпение, я, с обычной наблюдательностью, замечал лица прохожих, вагоны трамвая, казавшиеся после Берлина игрушечными, лавки, исполинский цилиндр, нарисованный на облупившейся стене, вывески, фамилию над булочной, Карл Шпис, — напомнившую мне некоего Карла Шписа, которого я знал в волжском поселке, и который тоже торговал булками. Наконец в глубине бульвара встал на дыбы бронзовый конь, опираясь на хвост, как дятел, и, если б герцог на нем энергичнее протягивал руку, то при тусклом вечернем свете памятник мог бы сойти за петербургского всадника. На одной из скамеек сидел старик и поедал из бумажного мешочка виноград; на другой расположились две пожилые дамы; старуха огромной величины полулежала в колясочке для калек и слушала их разговор, глядя на них круглым глазом. Я дважды, трижды обошел памятник, отметив придавленную копытом змею, латинскую надпись, ботфорту с черной звездой шпоры. Змеи, впрочем, никакой не было, это мне почудилось. Затем я присел на пустую скамью, — их было всего полдюжины, — и посмотрел на часы. Три минуты шестого. По газону прыгали воробьи. На вычурной изогнутой клумбе цвели самые гнусные в мире цветы — астры. Прошло минут десять. Такое волнение, что ждать в сидячем положении не мог. Кроме того, вышли все папиросы, курить хотелось до бешенства. Свернув с бульвара на боковую улицу мимо черной кирки с претензиями на старину, я нашел табачную лавку, вошел, автоматический звонок продолжал зудеть, — я не прикрыл двери, — “будьте добры”, — сказала женщина в очках за прилавком, — вернулся, захлопнул дверь. Над ней был натюр-морт Ардалиона: трубка на зеленом сукне и две розы.

“Как это к вам...?” — спросил я со смехом. Она не сразу поняла, а поняв ответила:

“Это сделала моя племянница. Недавно умерла”.

Что за дичь, — подумал я. — Ведь нечто очень похожее, если не точь-в-точь такое, я видел у него, — что за дичь...

“Ладно, ладно, — сказал я вслух. — Дайте мне...” — назвал сорт, который курю, заплатил и вышел.

Двадцать минут шестого.

Не смея еще вернуться на урочное место, давая еще время судьбе переменить программу, еще ничего не чувствуя, ни досады, ни облегчения, я довольно долго шел по улице, удаляясь от памятника, — и все останавливался, пытаюсь закурить, — ветер вырывал у меня огонь, наконец я забился в подъезд, надул ветер, — какой каламбур! И стоя в подъезде, и смотря на двух девочек, игравших возле, по очереди бросавших стеклянный шарик с радужной искрой внутри, а то — на корточках — подвигавших его пальцем, а то еще — сжимавших его между носками и подпрыгивавших, — все для того, чтобы он попал в лунку, выдавленную в земле под березой с раздвоенным стволом, — смотря на эту сосредоточенную, безмолвную, кропотливую игру, я почему-то подумал, что Феликс придти не может по той простой причине, что я сам выдумал его, что создан он моей фантазией, жадной до отражений, повторений, масок, — и что мое присутствие здесь, в этом захолустном городке, нелепо и даже чудовищно.

Вспоминаю теперь оный городок, — и вот я в странном смущении: приводить ли еще примеры тех его подробностей, которые неприятнейшим образом перекликались с подробностями, где-то и когда-то виденными мной? Мне даже кажется, что он был построен из каких-то отбросов моего прошлого, ибо я находил в нем вещи, совершенно замечательные по жуткой и необъяснимой близости ко мне: приземистый, бледно-голубой домишко, двойник которого я видел на Охте, лавку старьевщика, где висели костюмы знакомых мне покойников, тот же номер фонаря (всегда замечаю номера фонарей), как на стоявшем перед домом, где я жил в Москве, и рядом с ним — такая же голая береза, в таком же чугунном корсете и с тем же раздвоением ствола (поэтому я и посмотрел на номер). Можно было бы привести еще много примеров — иные из них такие тонкие, такие — я бы сказал — отвлеченно личные, что читателю — о котором я, как нянька, забочусь — они были бы непонятны. Да и кроме того я несомненно уверен в исключительности сих явлений. Всякому человеку, одаренному повышенной приметливостью, знакомы эти анонимные пересказы из его прошлого, эти будто бы невинные сочетания деталей, мерзко отдающие плагиатом. Оставим их на совести судьбы и вернемся, с замиранием сердца, с тоской и неохотой, к памятничку в конце бульвара.

Старик доел виноград и ушел, женщину, умирающую от водянки, укатали, — никого не было, кроме одного человека, который сидел как раз на той скамейке, где я сам давеча сидел, и, слегка поддавшись вперед, расставив колени, кормил крошками воробьев. Его палка, небрежно прислоненная к сидению скамьи, медленно пришла в движение в тот миг, как я ее заметил, — она поехала и упала на гравий. Воробьи вспорхнули, описали дугу, разместились

на окрестных кустах. Я почувствовал, что человек обернулся ко мне... Да, читатель, ты не ошибся.

ГЛАВА V

Глядя в землю, я левой рукой пожал его правую руку, одновременно поднял его упавшую палку и сел рядом с ним на скамью.

“Ты опоздал”, — сказал я, не глядя на него.

Он засмеялся. Все еще не глядя, я расстегнул пальто, снял шляпу, провел ладонью по голове, — мне почему-то стало жарко.

“Я вас сразу узнал”, — сказал он льстивым, глупо-заговорщичьим тоном.

Теперь я смотрел на палку, оказавшуюся у меня в руках: это была толстая, загоревшая палка, липовая, с глазком в одном месте и со тщательно выжженным именем владельца — Феликс такой-то, — а под этим — год и название деревни. Я отложил ее, подумав мельком, что он, мошенник, пришел пешком.

Решившись наконец, я повернулся к нему. Но посмотрел на его лицо не сразу; я начал с ног, как бывает в кинематографе, когда форсит оператор. Сперва: пыльные башмачища, толстые носки, плохо подтянутые; затем — лоснящиеся синие штаны (тогда были плисовые, — вероятно сгнили) и рука, держащая сухой хлебец. Затем — синий пиджак и под ним вязаный жилет дикого цвета. Еще выше — знакомый воротничок, теперь сравнительно чистый. Тут я остановился. Оставить его без головы, или продолжать его строить? Прикрывшись рукой, я сквозь пальцы посмотрел на его лицо.

На мгновение мне подумалось, что все прежнее было обманом, галлюцинацией, что никакой он не двойник мой, этот дурень, поднявший брови, выжидательно ослабившийся, еще совсем знавший, какое выражение принять, — отсюда: на всякий случай поднятые брови. На мгновение, говорю я, он мне показался так же на меня похожим, как был бы похож первый встречный. Но вернулись успокоившиеся воробьи, один запрыгал совсем близко, и это отвлекло его внимание, черты его встали по своим местам, и я вновь увидел чудо, явившееся мне пять месяцев тому назад.

Он кинул воробьям горсть крошек. Один из них суетливо клюнул, крошка подскочила, ее схватил другой и улетел. Феликс опять повернулся ко мне с выражением ожидания и готовности.

“Вон тому не попало”, — сказал я, указав пальцем на воробья, который стоял в стороне, беспомощно хлопая клювом.

“Молод, — заметил Феликс. — Видите, еще хвоста почти нет. Люблю птичек”, — добавил он с приторной ужимкой.

“Ты на войне побывал?”, — спросил я и несколько раз сряду прочистил горло, — голос был хриплый.

“Да, — ответил он, — а что?”

“Так, ничего. Здорово боялся, что убьют, — правда?”

Он подмигнул и проговорил загадочно:

“У всякой мыши — свой дом, но не всякая мышь выходит оттуда”.

Я уже успел заметить, что он любит пошлые прибаутки в рифму; не стоило ломать себе голову над тем, какую собственно мысль он желал выразить.

“Все. Больше нету, — обратился он вскользь к воробьям. — Белок тоже люблю” (опять подмигнул). “Хорошо, когда в лесу много белок. Я люблю их за то, что они против помещиков. Вот кроты — тоже”.

“А воробьи? — спросил я ласково. — Они как — против?”

“Воробей среди птиц нищий, — самый что ни на есть нищий. Нищий”, — повторил он еще раз. Он видимо считал себя необыкновенно рассудительным и сметливым парнем. Впрочем, он был не просто дурак, а дурак-меланхолик. Улыбка у него выходила скучная, — противно было смотреть. И все же я смотрел с жадностью. Меня весьма занимало, как наше диковинное сходство нарушалось его случайными ужимками. Доживи он до старости, — подумал я, — сходство совсем пропадет, а сейчас оно в полном расцвете.

Герман (игриво): “Ты, я вижу, философ”.

Он как будто слегка обиделся. “Философия — выдумка богачей, — возразил он с глубоким убеждением. — И вообще, все это пустые выдумки: религия, поэзия... Ах, девушка, как я страдаю, ах, мое бедное сердце... Я в любовь не верю. Вот дружба — другое дело. Дружба и музыка”.

“Знаете что, — вдруг обратился он ко мне с некоторым жаром, — я бы хотел иметь друга, — верного друга, который всегда был бы готов поделиться со мной куском хлеба, а по завещанию оставил бы мне немного земли, домишко. Да, я хотел бы настоящего друга, — я служил бы у него в садовниках, а потом его сад стал бы моим, и я бы всегда поминал покойника со слезами благодарности. А еще — мы бы с ним играли на скрипках, или там он на дудке, я на мандолине. А женщины... Ну скажите, разве есть жена, которая бы не изменяла мужу?”

“Очень все это правильно. Очень правильно. С тобой приятно говорить. Ты в школе учился?”

“Недолго. Чему в школе научишься? Ничему. Если человек умный, на что ему учение? Главное — природа. А политика, например, меня не интересует. И вообще мир это, знаете, дерьмо”.

“Заключение безукоризненно правильное, — сказал я. — Да, безукоризненно. Прямо удивляюсь. Вот что, умник, отдай-ка мне ментально мой карандаш!”

Этим я его здорово осадил и привел в нужное мне настроение.

“Вы забыли на траве, — пробормотал он растерянно. — Я не знал, увижу ли вас опять...”

“Украл и продал!” — крикнул я, — даже притопнул.

Ответ его был замечателен: сперва мотнул головой, что значило “Не крал”, и тотчас кивнул, что значило “Продал”. В нем, мне кажется, был собран весь букет человеческой глупости.

“Черт с тобою, — сказал я, — в другой раз будь осмотрительнее. Уж ладно. Бери папиросу”.

Он размяк, просиял, видя, что я не сержусь; принялся благодарить: “Спасибо, спасибо... Действительно, как мы с вами похожи, как похожи... Можно подумать, что мой отец согрешил с вашей матушкой!” — Подобострастно засмеялся, чрезвычайно довольный своею шуткой.

“К делу, — сказал я, притворившись вдруг очень серьезным. — Я пригласил тебя сюда не для одних отвлеченных разговорчиков, как бы они ни были приятны. Я тебе писал о помощи, которую собираюсь тебе оказать, о работе, которую нашел для тебя. Прежде всего, однако, хочу тебе задать вопрос. Ответь мне на него точно и правдиво. Кто я таков по твоему мнению?”

Феликс осмотрел меня, отвернулся, пожал плечом.

“Я тебе не загадку задаю, — продолжал я терпеливо. — Я отлично понимаю, что ты не можешь знать, кто я в действительности. Отстраним на всякий случай возможность, о которой ты так остроумно упомянул. Кровь, Феликс, у нас разная, — разная, голубчик, разная. Я родился в тысяче верстах от твоей колыбели, и честь моих родителей, как — надеюсь — и твоих, безупречна. Ты единственный сын, я — тоже. Так что ни ко мне, ни к тебе никак не может явиться этакий таинственный брат, которого, мол, ребенком украли цыгане. Нас не связывают никакие узы, у меня по отношению к тебе нет никаких обязательств, — заруби это себе на носу, — никаких обязательств, — все, что собираюсь сделать для тебя, сделаю по доброй воле. Запомни все это, пожалуйста. Теперь я тебя снова спрашиваю, кто я таков по твоему мнению, чем я представляюсь тебе, — ведь какое-нибудь мнение ты обо мне составил, — неправда-ли? “

“Вы, может быть, артист”, — сказал Феликс неуверенно.

“Если я правильно понял тебя, дружок, ты значит, при первом нашем свидании, так примерно подумал: Э, да он, вероятно, играет в театре, человек с норовом, чудак и франт, может быть знаменитость. Так, значит?”

Феликс устался на свой башмак, которым трамбовал гравий, и лицо его приняло несколько напряженное выражение.

“Я ничего не подумал, — проговорил он кисло. — Просто вижу: господин интересуется, ну и так далее. А хорошо платят вам-то, артистам?”

Примечаньице: мысль, которую он подал мне, показалась мне гибкой, — я решил ее испытать. Она любопытнейшей излучиной соприкасалась с главным моим планом.

“Ты угадал, — воскликнул я, — ты угадал. Да, я актер. Точнее — фильмный актер. Да, это верно. Ты хорошо, ты великолепно это сказал. Ну, дальше. Что еще можешь сказать обо мне?”

Тут я заметил, что он как то приуныл. Моя профессия точно его разочаровала. Он сидел насупившись, держа дымившийся окурочек между большим пальцем и указательным. Вдруг он поднял голову, прищурился...

“А какую вы мне работу хотите предложить?” — спросил он без прежней заискивающей нежности.

“Погоди, погоди. Все в свое время. Я тебя спрашивал, — что ты еще обо мне думаешь, — ну-с, пожалуйста”.

“Почем я знаю? — Вы любите разъезжать, — вот это я знаю, — а больше не знаю ничего”.

Между тем за вечерело, воробьи исчезли давно, всадник потемнел и как-то разросся. Из-за траурного дерева бесшумно появилась луна, — мрачная, жирная. Облако мимоходом надело на нее маску; остался виден только ее полный подбородок.

“Вот что Феликс, тут темно и неудобно. Ты, пожалуй, голоден. Пойдем, закусим где-нибудь и за кружкой пива продолжим наш разговор. Ладно?”

“Ладно”, — отозвался он, слегка оживившись и глубокомысленно присовокупил: — “Пустому желудку одно только и можно сказать” — (перевожу дословно, — по-немецки все это у него выходило в рифмочку).

Мы встали и направились к желтым огням бульвара. Теперь, в надвигающейся тьме, я нашего сходства почти не ощущал. Феликс шагал рядом со мной, словно в каком-то раздумье, — походка у него была такая же тупая, как он сам.

Я спросил: “Ты здесь в Тарнице еще никогда не бывал?”

“Нет, — ответил он. — Городов не люблю. В городе нашему брату скучно”.

Вывеска трактира. В окне боченок, а по сторонам два бородатых карла. Ну, хотя бы сюда. Мы вошли и заняли стол в глубине. Стягивая с растопыренной руки перчатку, я зорким взглядом окинул присутствующих. Было их, впрочем, всего трое, и они не обратили на нас никакого внимания. Подошел лакей, бледный человек в

пенснэ (я не в первый раз видел лакея в пенснэ, но не мог вспомнить, где мне уже такой попадался). Ожидая заказа, он посмотрел на меня, потом на Феликса. Конечно, из-за моих усов сходство не так бросалось в глаза, — я и отпустил их, собственно, для того, чтобы, появляясь с Феликсом вместе, не возбуждать чересчур внимания. Кажется у Паскаля встречается где-то умная фраза о том, что двое похожих друг на друга людей особого интереса в отдельности не представляют, но коль скоро появляются вместе — сенсация. Паскаля самого я не читал и не помню, где слямзил это изречение. В юности я увлекался такими штучками. Беда только в том, что иной прикарманенной мыслью щеголял не я один. Как то в Петербурге, будучи в гостях, я сказал: “Есть чувства, как говорил Тургенев, которые может выразить одна только музыка”. Через несколько минут явился еще гость и среди разговора вдруг разрешился тою же сентенцией. Не я, конечно, а он, оказался в дураках, но мне вчуже стало неловко, и я решил больше не мудрить. Все это — отступление, отступление в литературном смысле разумеется, отнюдь не в военном. Я ничего не боюсь, все расскажу. Нужно признать: восхитительно владею не только собой, но и слогом. Сколько романов я понаписал в молодости, так, между делом, и без малейшего намерения их опубликовать. Еще изречение: опубликованный манускрипт, как говорил Свифт, становится похож на публичную женщину. Однажды, еще в России, я дал Лиде прочесть одну вещицу в рукописи, сказав, что сочинил знакомый, — Лида нашла, что скучно, не дочитала, — моего почерка она до сих пор не знает, — у меня ровным счетом двадцать пять почерков, — лучшие из них, т. е. те, которые я охотнее всего употребляю, суть следующие: круглявый: с приятными сдобными утолщениями, каждое слово — прямо из кондитерской; засим: наклонный, востренький, — даже не почерк, а почерченоч, — такой мелкий, ветреный, — с сокращениями и без твердых знаков; и наконец — почерк, который я особенно ценю: крупный, четкий, твердый и совершенно безличный, словно пишет им абстрактная, в схематической манжете, рука, изображаемая в учебниках физики и на указательных столбах. Я начал было именно этим почерком писать предлагаемую читателю повесть, но вскоре сбился, — повесть эта написана всеми двадцатью пятью почерками, вперемешку, так что наборщики или неизвестная мне машинистка, или наконец, тот определенный, выбранный мной человек, тот русский писатель, которому я мою рукопись доставлю, когда подойдет срок, подумают, быть может, что писало мою повесть несколько человек, — а также весьма возможно, что какой-нибудь крысopodobный эксперт с хитрым личиком усмотрит в этой какографической роскоши признак ненормальности. Тем лучше.

Вот я упомянул о тебе, мой первый читатель, о тебе, известный автор психологических романов, — я их просматривал, — они очень искусственны, но неплохо скроены. Что ты почувствуешь, читатель-автор, когда приступишь к этой рукописи? Восхищение? Зависть? Или даже — почем знать? — воспользовавшись моей бессрочной отлучкой, выдашь мое за свое, за плод собственной изощренной, не спорю, изощренной и опытной, — фантазии, и я останусь на бобах? Мне было бы нетрудно принять наперед меры против такого наглого похищения. Приму ли их, — это другой вопрос. Мне, может быть, даже лестно, что ты украдешь мою вещь. Кража — лучший комплимент, который можно сделать вещи. И, знаешь, что самое забавное? Ведь, решившись на неприятное для меня воровство, ты исключишь как раз вот эти компрометирующая тебя строки, — да и кроме того кое-что перелицуешь по своему, (это уже менее приятно), как автомобильный вор красит в другой цвет машину, которую угнал. И по этому поводу позволю себе рассказать маленькую историю, самую смешную историю, какую я вообще знаю:

Недели полторы тому назад, т. е. около десятого марта тридцать первого года, неким человеком (или людьми), проходившим (или проходившими) по шоссе, а не то лесом (вероятно — еще выяснится), был обнаружен у самой опушки и незаконно присвоен небольшой синий автомобиль такой-то марки, такой-то силы (технические подробности опускаю). Вот собственно говоря, и все.

Я не утверждаю, что всякому будет смешон этот анекдот: соль его не очевидна. Меня он рассмешил — до слез — только потому, что я знаю подоплеку. Добавлю, что я его ни от кого не слышал, нигде не вычитал, а строго логически вывел из факта исчезновения автомобиля, факта совершенно превратно истолкованного газетами. Назад, рычаг времени!

“Ты умеешь править автомобилем?” — вдруг спросил я, помнится, Феликса, когда лакей, ничего не заметив в нас особенного, поставил перед нами две кружки пива, и Феликс жадно окунул губу в пышную пену.

“Что?” — переспросил он, сладостно крякнув.

“Я спрашиваю: ты умеешь править автомобилем?”

“А как же, — ответил он самодовольно. — У меня был приятель шофер, — служил у одного нашего помещика. Мы с ним однажды раздавили свинью. Как она визжала...”

Лакей принес какое-то рагу в большом количестве и картофельное пюре. Где я уже видел пенснэ на носу у лакея? Вспомнил только сейчас, когда пишу это: в паршивом русском ресторанчике, в Берлине, — и тот лакей был похож на этого, — такой же маленький, унылый, белобрысый.

“Ну вот, Феликс, мы попили, мы поели, будем теперь говорить. Ты сделал кое-какие предположения на мой счет, и предположения верные. Прежде, чем приступить вплотную к нашему делу, я хочу нарисовать тебе в общих чертах мой облик, мою жизнь, — ты скоро поймешь, почему это необходимо. Итак...”

Я отпил пива и продолжал:

“Итак, родился я в богатой семье. У нас был дом и сад, — ах, какой сад, Феликс! Представь себе розовую чащобу, целые заросли роз, розы всех сортов, каждый сорт с дощечкой, и на дощечке — название: названия розам дают такие же звонкие, как скаковым лошадям. Кроме роз, росло в нашем саду множество других цветов, — и когда по утрам все это бывало обрызгано росой, зрелище, Феликс, получалось сказочное. Мальчиком я уже любил и умел ухаживать за нашим садом, у меня была маленькая лейка, Феликс, и маленькая мотыга, и родители мои сидели в тени старой черешни, посаженной еще дедом, и глядели с умилением, как я, маленький и деловитый, — вообрази, вообрази эту картину, — снимаю с роз и давлю гусениц, похожих на сучки. Было у нас всякое домашнее зверье, как например, кролики, — самое овальное животное, если понимаешь, что хочу сказать, — и сердитые сангвиники-индюки, и прелестные козочки, и так далее, и так далее. Потом родители мои разорились, померли, чудный сад исчез, как сон, — и вот только теперь счастье как будто блеснуло опять. Мне удалось недавно приобрести клочок земли на берегу озера, и там будет разбит новый сад, еще лучше старого. Моя молодость вся насквозь проблагоухала тьмою цветов, окружавшей ее, а соседний лес, густой и дремучий, наложил на мою душу тень романтической меланхолии. Я всегда был одинок, Феликс, одинок я и сейчас. Женщины... — Но что говорить об этих изменчивых, развратных существах... Я много путешествовал, люблю, как и ты, бродить с котомкой, — хотя конечно, в силу некоторых причин, которые всецело осуждаю, мои скитания приятнее твоих. Философствовать не люблю, но все же следует признать, что мир устроен несправедливо. Удивительная вещь, — задумывался ли ты когда-нибудь над этим? — что двое людей, одинаково бедных, живут неодинаково, один, скажем, как ты, откровенно и безнадежно нищенствует, а другой, такой же бедняк, ведет совсем иной образ жизни, — прилично одет, беспечен, сыт, вращается среди богатых весельчаков, — почему это так? А потому, Феликс, что принадлежат они к разным классам, — и если уже мы заговорили о классах, то представь себе одного человека, который зайцем едет в четвертом классе, и другого, который зайцем едет в первом: одному твердо, другому мягко, а между тем у обоих кошелек пуст, — вернее, у одного есть кошелек, хоть и пустой, а у другого и этого нет, — просто дырявая подкладка. Говорю так, чтобы ты осмыслил разницу между нами: я актер, живущий в общем

на фуфу, но у меня всегда есть резиновые надежды на будущее, которые можно без конца растягивать, — у тебя же и этого нет, — ты всегда бы остался нищим, если бы не чудо, — это чудо: наша встреча.

Нет такой вещи, Феликс, которую нельзя было бы эксплуатировать. Скажу более: нет такой вещи, которую нельзя было бы эксплуатировать очень долго и очень успешно. Тебе снилась, может быть, в самых твоих заносчивых снах двузначная цифра — это предел твоих мечтаний. Ныне же речь идет сразу, с места в карьер, о цифрах трехзначных, — это конечно нелегко охватить воображением, ведь и десятка была уже для тебя едва мыслимой бесконечностью, а теперь мы как бы зашли за угол бесконечности, — и там сияет сотенка, а за нею другая, — и как знать, Феликс, может быть зреет и еще один, четвертый, знак, — кружится голова, страшно, щеотно, — но это так, это так. Вот видишь, ты до такой степени привык к своей убогой судьбе, что сейчас едва ли улавливаешь мою мысль, — моя речь тебе кажется непонятной, странной; то, что впереди, покажется тебе еще непонятнее и страннее”.

Я долго говорил в этом духе. Он глядел на меня с опаской: ему, пожалуй, начинало сдаваться, что я издеваюсь над ним. Такие как он молодцы добродушны только до некоторого предела. Как только впадает им на мысль, что их собираются околпачить, вся доброта с них слетает, взгляд принимает неприятно-стеклянный оттенок, их начинает разбирать тяжелая, прочная ярость. Я говорил темно, но не задавался целью его взбесить, напротив мне хотелось расположить его к себе, — озадачить, но вместе с тем привлечь; смутно, но все же убедительно, внушить ему образ человека, во многом сходного с ним, — однако фантазия моя разыгралась, и разыгралась нехорошо, увесисто, как пожилая, но все еще кокетливая дама, выпившая лишнее. Оценив впечатление, которое на него произвожу, я на минуту остановился, пожалел было, что его напугал, но тут же ощутил некоторую усладу от умения моего заставлять слушателя чувствовать себя плохо. Я улыбнулся и продолжал примерно так:

“Ты прости меня, Феликс, я разболтался, — но мне редко приходится отводить душу. Кроме того, я очень спешу показать себя со всех сторон, дабы ты имел полное представление о человеке, с которым тебе придется работать, — тем более, что самая эта работа будет прямым использованием нашего с тобою сходства. Скажи мне, знаешь ли ты, что такое дублер?”

Он покачал головой, губа отвисла, я давно заметил, что он дышит все больше ртом, нос был у него, что-ли, заложен.

“Не знаешь, — так я тебе объясню. Представь себе, что директор кинематографической фирмы, — ты в кинематографе бывал?”

“Бывал”.

“Ну вот, — представь себе, значит, такого директора... Виноват, ты, дружок, что-то хочешь сказать?”

“Бывал, но редко. Уж если тратить деньги, так на что-нибудь получше”.

“Согласен, но не все рассуждают, как ты, — иначе не было бы и ремесла такого, как мое, — неправда-ли? Итак, мой директор предложил мне за небольшую сумму, что-то около десяти тысяч, — это конечно пустяк, фуфу, но больше не дают, — сниматься в фильме, где герой — музыкант. Я кстати сам обожаю музыку, играю на нескольких инструментах. Бывало, летним вечерком беру свою скрипку, иду в ближний лесок... Ну так вот. Дублер, Феликс, это лицо, могущее в случае надобности заменить данного актера.

Актер играет, его снимает аппарат, осталось доснять пустяковую сценку, — скажем, герой должен проехать на автомобиле, — а тут возьми он, да и заболей, — а время не терпит. Тут то и вступает в свою должность дублер, — проезжает на этом самом автомобиле, — ведь ты умеешь управлять, — и когда зритель смотрит фильму, ему и в голову не приходит, что произошла замена. Чем сходство совершеннее, тем оно дороже ценится. Есть даже особые организации, занимающаяся тем, что знаменитостям подыскивают двойников. И жизнь двойника прекрасна, — он получает определенное жалование, а работать приходится ему только изредка, — да и какая это работа, — оденется точь-в-точь как одет герой и вместо героя промелькнет на нарядной машине, — вот и все. Разумеется, болтать о своей службе он не должен; ведь каково получится, если конкурент или какой-нибудь журналист проникнет в подлог, и публика узнает, что ее любимца в одном месте подменили. Ты понимаешь теперь, почему я пришел в такой восторг, в такое волнение, когда нашел в тебе точную копию своего лица. Я всегда мечтал об этом. Подумай, как важно для меня — особенно сейчас, когда производятся съемки, и я, человек хрупкого здоровья, исполняю главную роль. В случае чего тебя сразу вызывают, ты являешься — — ”

“Никто меня не вызывает, и никуда я не являюсь”, — перебил меня Феликс.

“Почему ты так говоришь, голубчик?” — спросил я с ласковой укоризной.

“Потому, — ответил Феликс, — что нехорошо с вашей стороны морочить бедного человека. Я вам поверил. Я думал, вы мне предложите честную работу. Я притащился сюда издалека. У меня подметки — смотрите, в каком виде... А вместо работы — — Нет, это мне не подходит”.

“Тут недоразумение, — сказал я мягко. — Ничего унижительно-го или чрезмерно тяжелого я не предлагаю тебе. Мы заключим

договор. Ты будешь получать от меня сто марок ежемесячно. Работа, повторяю, до смешного легкая, — прямо детская, — вот как дети переодеваются и изображают солдат, привидения, авиаторов. Подумай, ведь ты будешь получать сто марок в месяц только за то, чтобы изредка, — может быть раз в году, — надеть вот такой костюм, как сейчас на мне. Давай, знаешь, вот что сделаем: условимся встретиться как-нибудь и прорепетировать какую-нибудь сценку, — посмотрим, что из этого выйдет”.

“Ничего о таких вещах я не слышал, и не знаю, — довольно грубо возразил Феликс. — У тетки моей был сын, который паясничал на ярмарках, — вот все, что я знаю, — был он пьяница и развратник, и тетка моя все глаза из-за него выплакала, пока он, слава Богу, не разбился на смерть, грохнувшись с качелей. Эти кинематографы да цирки — —”

Так ли все это было? Верно-ли следую моей памяти, или же, выбившись из строя, своевольно пляшет мое перо? Что-то уже слишком литературен этот наш разговор, смахивает на застеночные беседы в бутафорских кабаках имени Достоевского; еще немного, и появится “сударь”, даже в квадрате: “сударь-с”, — знакомый взволнованный говорок: “и уже непременно, непременно...”, а там и весь мистический гарнир нашего отечественного Пинкертон. Меня даже некоторым образом мучит, то есть даже не мучит, а совсем, совсем сбивает с толку и, пожалуй, губит меня мысль, что я как то слишком понадеялся на свое перо... Узнаете тон этой фразы? Вот именно. И еще мне кажется, что разговор-то наш помню превосходно, со всеми его оттенками, и всю его подноготную (вот опять, — любимое словцо нашего специалиста по душевным лихорадкам и абберациям человеческого достоинства, — “подноготная” и еще, пожалуй, курсивом). Да, помню этот разговор, но передать его в точности не могу, что-то мешает мне, что-то жгучее, нестерпимое, гнусное, — от чего я не могу отвязаться, прилипло, все равно как если в потемках нарваться на мухоморную бумагу, — и, главное, не знаешь, где зажигается свет. Нет, разговор наш был не таков, каким он изложен, — то есть может быть слова-то и были именно такие (вот опять), но не удалось мне, или не посмел я, передать особые шумы, сопровождавшие его, — были какие-то провалы и удаления звука, и затем снова бормотание и шушукание, и вдруг деревянный голос, ясно выговаривающий: “Давай, Феликс, выпьем еще пивца”. Узор коричневых цветов на обоях, какая-то надпись, обиженно объясняющая, что кабак не отвечает за пропажу вещей, картонные круги, служащие базой для пива, на одном из которых был косо начертан карандашом торопливый итог, и отдаленная стойка, подле которой пил, свив ноги черным кренделем, окруженный дымом человек, — все это было комментариями к нашей беседе, столь же бессмысленными, впрочем, как

пометки на полях Лидиных паскудных книг. Если бы те трое, которые сидели у завешенного пыльно-кровавой портьерой окна, далеко от нас, если бы они обернулись и на нас посмотрели — эти трое тихих и печальных бражников, — то они бы увидели: брата благополучного и брата-неудачника, брата, с усиками над губой и блеском на волосах, и брата бритого, но не стриженного давно, с подобием гривки на худой шее, сидевших друг против друга, положивших локти на стол и одинаково подперших скулы. Такими нас отражало тусклое, слегка повидимому ненормальное, зеркало, с кривизной, с безуминкой, которое вероятно сразу бы треснуло, отразись в нем хоть одно подлинное человеческое лицо. Так мы сидели, и я продолжал уговорчиво бормотать, — говорю я вообще с трудом, те речи, которые как будто дословно привожу, вовсе не текли так плавно, как текут они теперь на бумагу, — да и нельзя начертательно передать мое косноязычие, повторение слов, спотыкание, глупое положение придаточных предложений, заплутавших, потерявших матку, и все те лишние нечленораздельные звуки, которые дают словам podporку или лазейку. Но мысль моя работала так стройно, шла к цели такой мерной и твердой поступью, что впечатление, сохраненное мной от хода собственных слов, не является чем-то путанным и сбивчивым, — напротив. Цель однако была еще далеко; сопротивление Феликса, сопротивление ограниченного и боязливого человека, следовало как-нибудь сломить. Соблазнившись изящной естественностью темы, я упустил из виду, что эта тема может ему не понравиться, отпугнуть его так же естественно, как меня она привлекла. Не то, чтоб я имел хоть малейшее касательство к сцене, — единственный раз, когда я выступал, было лет двадцать тому назад, ставился домашний спектакль в усадьбе помещика, у которого служил мой отец, и я должен был сказать всего несколько слов: “Его сиятельство велели доложить, что сейчас будут-с... Да вот и они сами идут”, — вместо чего я с каким-то тончайшим наслаждением, ликуя и дрожа всем телом, сказал так: “Его сиятельство придти не могут-с, они зарезались бритвой”, — а между тем любитель-актер, игравший князя, уже выходил, в белых штанах, с улыбкой на радужном от грима лице, — и все повисло, ход мира был мгновенно пресечен, и я до сих пор помню, как глубоко я вдохнул этот дивный, грозовой озон чудовищных катастроф. Но хотя я актером в узком смысле слова никогда не был, я все же в жизни всегда носил с собой как бы небольшой складной театр, играл не одну роль и играл отменно, — и если вы думаете, что суфлер мой звался Выгода, — есть такая славянская фамилия, — то вы здорово ошибаетесь, — все это не так просто, господа. В данном же случае моя игра оказалась пустой затратой времени, — я вдруг понял, что, продли я монолог о кинематографе, Феликс встанет и уйдет, вернув мне десять марок, — нет, впрочем он не

вернул бы, — могу поручиться, — слово “деньги”, по-немецки такое увесистое (“деньги” по-немецки золото, по-французски — серебро, по-русски — медь), произносилось им с необычайным уважением и даже сладострастием. Но ушел бы он непременно, да еще с оскорбленным видом... По правде сказать, я до сих пор совсем понимаю, почему все связанное с кинематографом и театром было ему так невыносимо противно; чуждо — допустим, — но противно? Постараемся это объяснить отсталостью простонародья, — немецкий мужик старомоден и стыдлив, — пройдитесь-ка по деревне в купальных трусиках, — я пробовал, — увидите, что будет: мужчины остолбенеют, женщины будут фыркать в ладошку, как горничные в старосветских комедиях.

Я умолк. Феликс молчал тоже, вода пальцем по столу. Он полагал, вероятно, что я ему предложу место садовника или шофера, и теперь был сердит и разочарован. Я подозвал лакея, расплатился. Мы опять оказались на улице. Ночь была резкая, пустынная. В тучах, похожих на черный мех, скользила яркая, плоская луна, поминутно скрываясь.

“Вот что, Феликс. Мы разговор наш не кончили. Я этого так не оставляю. У меня есть номер в гостинице, пойдем, переночуешь у меня”.

Он принял это как должное. Несмотря на свою тупость, он понимал, что нужен мне, и что неблагоприятно было бы оборвать наши сношения, недоговорившись до чего-нибудь. Мы снова прошли мимо двойника медного всадника. На бульваре не встретили ни души. В домах не было ни одного огня; если бы я заметил хоть одно освещенное окно, то подумал бы, что там кто-нибудь повесился, оставив гореть лампу, настолько свет показался бы неожиданным и противозаконным. Мы молча дошли до гостиницы. Нас впустил сомнамбул без воротничка. Когда мы вошли в номер, то у меня было опять ощущение чего-то очень знакомого, — но другое занимало мои мысли. Садись. Он сел на стул, опустив кулаки на колени и полукрыв рот. Я скинул пиджак и, засунув руки в карманы штанов, брэнча мелкой деньгой, принялся ходить взад и вперед по комнате. На мне был, между прочим, сиреневый в черную мушку галстук, который слегка взлетал, когда я поворачивался на каблуке. Некоторое время продолжалось молчание, моя ходьба, ветерок. Внезапно Феликс, как будто убитый наповал, уронил голову, — и стал развязывать шнурки башмаков. Я взглянул на его беспомощную шею, на грустное выражение шейных позвонков, и мне сделалось как-то странно, что вот буду спать со своим двойником в одной комнате, чуть ли не в одной постели, — кровати стояли друг к дружке вплотную. Вместе с тем меня пронзила ужасная мысль, что, может быть, у него какой-нибудь телесный недостаток, красный крап на коже или грубая татуировка, — я требовал от его тела

минимум сходства с моим, — за лицо я был спокоен. “Да-да, раздевайся”, — сказал я, продолжая шагать. Он поднял голову, держа в руке безобразный башмак.

“Я давно не спал в постели, — проговорил он с улыбкой (не показывая десен, дурак), — в настоящей постели”.

“Снимай все с себя, — сказал я нетерпеливо. — Ты вероятно грязен, пылен. Дам тебе рубашку для спанья. И вымойся”.

Ухмыляясь и покрывая, несколько как будто стесняясь меня, он разделся донага и стал мыть подмышками, склонившись над чашкой комодообразного умывальника. Ловкими взглядами я жадно осматривал этого совершенно голого человека. Он был худ и бел, — гораздо белее своего лица, — так что мое сохранившее летний загар лицо казалось приставленным к его бледному телу, — была даже заметна черта на шее, где приставили голову. Я испытал необыкновенное удовольствие от этого осмотра, отлегло, непоправимых примет не оказалось.

Когда, надев чистую рубашку, выданную ему из чемодана, он лег в постель, я сел у него в ногах и уставился на него с откровенной усмешкой. Не знаю, что он подумал, — но, разомлевший от непривычной чистоты, он стыдливым, сентиментальным, даже просто нежным движением, погладил меня по руке и сказал, — перевожу дословно: “Ты добрый парень”. Не разжимая зубов, я затрясся от смеха, и тут он вероятно усмотрел в выражении моего лица нечто странное, — брови его полезли наверх, он повернул голову, как птица. Уже открыто смеясь, я сунул ему в рот папиросу, он чуть не поперхнулся.

“Эх ты, дубина! — воскликнул я, хлопнув его по выступу колена, — неужели ты не смекнул, что я вызвал тебя для важного, совершенно исключительно важного дела”, — и вынув из бумажника тысячекмарковый билет, и продолжая смеяться, я поднес его к самому лицу дурака.

“Это мне?” — спросил он и выронил папиросу: видно пальцы у него невольно раздвинулись, готовясь схватить.

“Прожжешь простыню, — проговорил я сквозь смех. — Вон там, у локтя. Я вижу, ты взволновался. Да, эти деньги будут твоими, ты их даже получишь вперед, если согласишься на дело, которое я тебе предложу. Ведь неужели ты не сообразил, что о кинематографе я говорил так, в виде пробы. Что никакой я не актер, а человек деловой, толковый. Короче говоря, вот в чем состоит дело. Я собираюсь произвести кое-какую операцию, и есть маленькая возможность, что впоследствии до меня доберутся. Но подозрения сразу отпадут, ибо будет доказано, что в день и в час совершения этой операции, я был от места действия очень далеко”.

“Кража?” — спросил Феликс, и что-то мелькнуло в его лице, — странное удовлетворение...

“Я вижу что ты не так глуп, — продолжал я, понизив голос до шепота. — Ты невидимому давно подозревал неладное и теперь доволен, что не ошибся, как бывает доволен всякий, убедившись в правильности своей догадки. Мы оба с тобой падки на серебряные вещи, — ты так подумал, неправда-ли? А может быть, тебе просто приятно, что я не чудак, не мечтатель с бзиком, а дельный человек”.

“Кража?” — снова спросил Феликс, глядя на меня ожившими глазами.

“Операция во всяком случае незаконная. Подробности узнаешь погодя. Позволь мне сперва тебе объяснить, в чем будет состоять твоя работа. У меня есть автомобиль. Ты сядешь в него, надев мой костюм, и проедешь по указанной мною дороге. Вот и все. За это ты получишь тысячу марок”.

“Тысячу, — повторил за мной Феликс. — А когда вы мне их дадите?”

“Это произойдет совершенно естественно, друг мой. Надев мой пиджак, ты в нем найдешь мой бумажник, а в бумажнике — деньги”.

“Что же я должен дальше делать?”

“Я тебе уже сказал. Прокатиться. Скажем так: я тебя снаряжаю, а на следующий день, когда сам то я уже далеко, ты едешь кататься, тебя видят, тебя принимают за меня, возвращаешься, а я уже тут как тут, сделав свое дело. Хочешь точнее? Изволь. Ты проедешь через деревню, где меня знают в лицо; ни с кем говорить тебе не придется, это продолжится всего несколько минут, но за эти несколько минут я заплачу дорого, ибо они дадут мне чудесную возможность быть сразу в двух местах”.

“Вас накроют с поличным, — сказал Феликс, — а потом доберутся и до меня. На суде все откроется, вы меня предадите”.

Я опять рассмеялся: “Мне, знаешь, нравится, дружок, как это ты сразу освоился с мыслью, что я мошенник”.

Он возразил, что не любит тюрем, что в тюрьмах гибнет молодость, что ничего нет лучше свободы и пения птиц. Говорил он это довольно вяло и без всякой неприязни ко мне. Потом задумался, облокотившись на подушку. Стояла душная тишина. Я зевнул и, не раздеваясь, лег навзничь на постель. Меня посетила забавная думка, что Феликс среди ночи убьет и ограбит меня. Вытянув в бок ногу, я шаркнул подошвой по стене, дотронулся носком до выключателя, сорвался, еще сильнее вытянулся, и ударом каблука погасил свет.

“А может быть это все вранье? — раздался в тишине его глупый голос. — Может быть, я вам не верю...”

Я не шелохнулся.

“Вранье”, — повторил он через минуту.

Я не шелохнулся, а немного погодя принялся дышать с бесстрастным ритмом сна.

Он повидимому прислушивался. Я прислушивался к тому, как он прислушивается. Он прислушивался к тому, как я прислушиваюсь к его прислушиванию. Что-то оборвалось. Я заметил, что думаю вовсе не о том, о чем мне казалось, что думаю, — попытался поймать свое сознание врасплох, но запутался.

Мне приснился отвратительный сон. Мне приснилась собачка, — но не просто собачка, а лже-собачка, маленькая, с черными глазками жучьей личинки, и вся беленькая, холодненькая, — мясо не мясо, а скорее сальце или бланманже, а вернее всего мяско белого червя, да притом с волной и резьбой, как бывает на пасхальном баране из масла, — гнусная мимикрия, холоднокровное существо, созданное природой под собачку, с хвостом, с лапками, — все как следует. Она то и дело попадалась мне подруку, невозможно было отвязаться, — и когда она прикасалась ко мне, то это было как электрический разряд. Я проснулся. На простыне соседней постели лежала, свернувшись холодным белым пирожком, все та же гнусная лже-собачка, — так впрочем сворачиваются личинки, — я застонал от отвращения, — и проснулся совсем. Кругом плыли тени, постель рядом была пуста, и тихо серебрились те широкие лопухи, которые, вследствие сырости, вырастают из грядки кровати. На листьях виднелись подозрительные пятна, вроде слизи, я всмотрелся: среди листьев, прилепившись к мякоти стебля, сидела маленькая, сальная, с черными пуговками глаз... но тут уж я проснулся по-настоящему.

В комнате было уже довольно светло. Мои часики остановились. Должно-быть — пять, половина шестого. Феликс спал, завернувшись в пуховик, спиной ко мне, я видел только его макушку. Странное пробуждение, странный рассвет. Я вспомнил наш разговор, вспомнил, что мне не удалось его убедить, — и новая, занимательнейшая мысль овладела мной. Читатель, я чувствовал себя по-детски свежим после недолгого сна, душа моя была как бы промыта, мне в конце концов шел всего только тридцать шестой год, щедрый остаток жизни мог быть посвящен кое-чему другому, нежели мерзкой мечте. В самом деле, — какая занимательная, какая новая и прекрасная мысль, — воспользоваться советом судьбы, и вот сейчас, сию минуту, уйти из этой комнаты, навсегда покинуть, навсегда забыть моего двойника, да может быть он и вовсе непохож на меня, — я видел только макушку, он крепко спал, повернувшись ко мне спиной. Как отрок после одинокой схватки стыдного порока с необыкновенной силой и ясностью говорит себе: кончено, больше никогда, с этой минуты чистота, счастье чистоты, — так и я, высказав вчера все, все уже вперед испытал, измучившись и насладившись в полной мере, был суеверно готов отказаться навсегда от

соблазна. Все стало так просто: на соседней кровати спал случайно пригретый мною бродяга, его пыльные бедные башмаки, носками внутрь, стояли на полу, и с пролетарской аккуратностью было сложено на стуле его платье. Что я собственно делал в этом номере провинциальной гостиницы, какой смысл был дальше оставаться тут? И этот трезвый, тяжелый запах чужого пота, это бледносерое небо в окне, большая черная муха, сидевшая на графине, — все говорило мне: уйди, встань и уйди.

Я спустил ноги на завернувшийся коврик, зачесал карманным гребешком волосы с висков назад, бесшумно прошел по комнате, надел пиджак, пальто, шляпу, подхватил чемодан и вышел, неслышно прикрыв за собою дверь. Думаю, что если бы даже я и взглянул невзначай на лицо моего спящего двойника, то я бы все-таки ушел, — но я и не почувствовал побуждения взглянуть, — как тот же отрок, только что мною помянутый, уже утром не устаивает взглядом обольстительную фотографию, которой ночью упивался.

Быстрым шагом, испытывая легкое головокружение, я спустился по лестнице, заплатил за комнату и, провожаемый сонным взглядом лакея, вышел на улицу. Через полчаса я уже сидел в вагоне, веселила душу коньячная отрыжка, а в уголках рта остались соленые следы яичницы, торопливо съеденной в вокзальном буфете. Так на низкой пищеводной ноте кончается эта смутная глава.

ГЛАВА VI

Небытие Божье доказывается просто. Невозможно допустить, например, что некий серьезный Сый, всемогущий и всемудрый, занимался бы таким пустым делом, как игра в человечки, — да притом — и это, может быть, самое несуразное — ограничивая свою игру пошлейшими законами механики, химии, математики, — и никогда — заметьте, никогда! — не показывая своего лица, а разве только исподтишка, обиняками, по-воровски — какие уж тут откровения! — высказывая спорные истины из-за спины нежного истерика. Все это божественное является, полагаю я, великой мистификацией, в которой разумеется уж отнюдь неповинны попы: они сами — ее жертвы. Идею Бога изобрел в утро мира талантливый шлопай, — как то слишком отдает человечиною эта самая идея, чтобы можно было верить в ее лазурное происхождение, — но это не значит, что она порождена невежеством, — шлопай мой знал толк в горних делах — и право не знаю, какой вариант небес мудрее: — ослепительный плеск многоочитых ангелов или кривое зеркало, в которое уходит, бесконечно уменьшаясь, самодовольный профессор физики. Я не могу, не хочу в Бога верить, еще и потому, что сказка о нем — не моя, чужая, всеобщая сказка, — она пропитана неблагоприятными испарениями миллионов других людских душ, повертевшихся в мире и лопнувших; в ней кишат древние страхи, в ней звучат, мешаясь и стараясь друг друга перекричать, неисчислимые голоса, в ней — глубокая одышка органа, рев дьякона, рулады кантора, негритянский вой, пафос речистого пастора, гонги, громы, клочкотание кликуш, в ней просвечивают бледные страницы всех философий, как пена давно разбившихся волн, она мне чужда и противна, и совершенно ненужна.

Если я не хозяин своей жизни, не деспот своего бытия, то никакая логика и ничьи экстазы не разубедят меня в невозможной глупости моего положения, — положения раба божьего, — даже не раба, а какой-то спички, которую зря зажигает и потом гасит любознательный ребенок — гроза своих игрушек. Но беспокоиться не о чем, Бога нет, как нет и бессмертия, — это второе чудище можно так же легко уничтожить, как и первое. В самом деле, — представьте себе, что вы умерли и вот очнулись в раю, где с улыбками вас встречают дорогие покойники. Так вот, скажите на милость, какая у вас гарантия, что это покойники подлинные, что это

действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь мелкий демон-мистификатор, изображающий, играющий вашу матушку с большим искусством и правдоподобием. Вот в чем затор, вот в чем ужас, и ведь игра-то будет долгая, бесконечная, никогда, никогда, никогда душа на том свете не будет уверена, что ласковые, родные души, окружившие ее, не ряженные демоны, — и вечно, вечно, вечно душа будет пребывать в сомнении, ждать страшной, издевательской перемены в любимом лице, наклонившемся к ней. Поэтому я все приму, пускай — рослый палач в цилиндре, а затем — раковинный гул вечного небытия, но только не пытка бессмертием, только не эти белые, холодные собачки, увольте, — я не вынесу ни малейшей нежности, предупреждаю вас, ибо все — обман, все — гнусный фокус, я не доверяю ничему и никому, — и когда самый близкий мне человек, встретив меня на том свете, подойдет ко мне и протянет знакомые руки, я заору от ужаса, я грохнусь на райский дерн, я забьюсь, я не знаю, что сделаю, — нет, закройте для посторонних вход в области блаженства.

Однако, несмотря на мое неверие, я по природе своей не уныл и не зол. Когда я из Тарница вернулся в Берлин и произвел опись своего душевного имущества, я, как ребенок, обрадовался тому небольшому, но несомненному богатству, которое оказалось у меня, и почувствовал, что, обновленный, освеженный, освобожденный, вступаю, как говорится, в новую полосу жизни. У меня была глупая, но симпатичная, преклонявшаяся предо мной жена, славная квартирка, прекрасное пищеварение и синий автомобиль. Я ощущал в себе поэтический, писательский дар, а сверх того — крупные деловые способности, — даром, что мои дела шли неважно. Феликс, двойник мой, казался мне безобидным курьезом, и я бы в те дни, пожалуй, рассказал о нем другу, подвернись такой друг. Мне приходило в голову, что следует бросить шоколад и заняться другим, — например, изданием дорогих роскошных книг, посвященных всестороннему освещению эроса — в литературе, в искусстве, в медицине... Вообще во мне проснулась пламенная энергия, которую я не знал к чему приложить. Особенно помню один вечер, — вернувшись из конторы домой, я не застал жены, она оставила записку, что ушла в кинематограф на первый сеанс, — я не знал, что делать с собой, ходил по комнатам и щелкал пальцами, — потом сел за письменный стол, — думал заняться художественной прозой, но только замусолил перо да нарисовал несколько капающих носов, — встал и вышел, мучимый жаждой хоть какого-нибудь общения с миром, — собственное общество мне было невыносимо, оно слишком возбуждало меня, и возбуждало впустую. Отправился я к Ардалиону, — человек он с шутовской душой, полнокровный, презренный, — когда он наконец открыл мне (боясь кредиторов, он запирает комнату на ключ), я удивился, почему я к нему пришел.

“Лида у меня, — сказал он, жуя что-то (потом оказалось: резинку). — Барыне нездоровится, разоблачайтесь”.

На постели Ардалиона, полуодетая, то есть без туфель и в мятом зеленом чехле, лежала Лида и курила.

“О, Герман, — проговорила она, — как хорошо, что ты догадался прийти, у меня что-то с животиком. Садись ко мне. Теперь мне лучше, а в кинематографе было совсем худо”.

“Недосмотрели боевика, — пожаловался Ардалион, ковыряя в трубке и просыпая черную золу на пол. — Вот уж полчаса, как валяется. Все это дамские штучки, — здорова, как корова”.

“Попроси его замолчать”, — сказала Лида.

“Послушайте, — обратился я к Ардалиону, — ведь не ошибаюсь я, ведь у вас действительно есть такой натюр-морт, — трубка и две розы?”

Он издал звук, который неразборчивые в средствах романисты изображают так: “Гм”.

“Нету. Вы что-то путаете синьор”.

“Мое первое, — сказала Лида, лежа с закрытыми глазами, — мое первое — большая и неприятная группа людей, мое второе... мое второе — зверь по-французски, — а мое целое — такой маляр”.

“Не обращайтесь на нее внимания, — сказал Ардалион. — А насчет трубки и роз, — нет, не помню, — впрочем, посмотрите сами”.

Его произведения висели по стенам, валялись на столе, громоздились в углу в пыльных папках. Все вообще было покрыто серым пушком пыли. Я посмотрел на грязные фиолетовые пятна акварелей, брезгливо перебрал несколько жирных листов, лежавших на валком стуле.

“Во-первых “орда” пишется через “о”, — сказал Ардалион. — Изволили спутать с арбой”.

Я вышел из комнаты и направился к хозяйке в столовую. Хозяйка, старуха, похожая на сову, сидела у окна, на ступень выше пола, в готическом кресле и штопала чулок на грибе. “Посмотреть на картины”, — сказал я.

“Прошу вас”, — ответила она милостиво.

Справа от буфета висело как раз то, что я искал, — но оказалось, что это совсем две розы и совсем трубка, а два больших персика и стеклянная пепельница.

Вернулся я в сильнейшем раздражении. “Ну что, — спросил Ардалион, — нашли?”

Я покачал головой. Лида уже была в платье и приглаживала перед зеркалом волосы грязнейшей Ардалионовой щеткой.

“Главное, — ничего такого не ела”, — сказала она, суживая по привычке нос.

“Просто газы, — заметил Ардалион. — Погодите, господа, я выйду с вами вместе, — только оденусь. Отвернись, Лидуша”.

Он был в заплатанном, испачканном краской малярском балахоне почти до пят. Снял его. Внизу были кальсоны, — больше ничего. Я ненавижу неряшливость и нечистоплотность. Ей Богу, Феликс был как-то чище его. Лида глядела в окно и напевала, дурно произнося немецкие слова, уже успевшую выйти из моды песенку. Ардалион бродил по комнате, одеваясь по мере того, как находил — в самых неожиданных местах — разные части своего туалета.

“Эх-ма! — воскликнул он вдруг. — Что может быть банальнее бедного художника? Если бы мне кто-нибудь помог устроить выставку, я стал бы сразу славен и богат”.

Он у нас ужинал, потом играл с Лидой в дураки и ушел за полночь. Даю все это, как образец весело и плодотворно проведенного вечера. Да, все было хорошо, все было отлично, — я чувствовал себя другим человеком, — освеженным, обновленным, освобожденным, — и так далее, — квартира, жена, балагуры-друзья, приятный, пронизывающий холод железной берлинской зимы, — и так далее. Не могу удержаться и от того, чтобы не привести примера тех литературных забав, коим я начал предаваться, — бессознательная тренировка, должно быть, перед теперешней работой моей над сей изнурительной повестью. Сочиненьица той зимы я давно уничтожил, но довольно живо у меня осталось в памяти одно из них. Как хороши, как свежи... Музыкачку, пожалуйста!

Жил-был на свете слабый, вялый, но состоятельный человек, некто Игрек Иксович. Он любил обольстительную барышню, которая, увы, не обращала на него никакого внимания. Однажды, путешествуя, этот бледный, скучный человек увидел на берегу моря молодого рыбака, по имени Дика, веселого, загорелого, сильного, и вместе с тем — о чудо! — поразительно, невероятно похожего на него. Интересная мысль зародилась в нем: он пригласил барышню поехать с ним к морю. Они остановились в разных гостиницах. В первое же утро она, отправившись гулять, увидела с обрыва — кого? неужели Игрека Иксовича?? — вот не думала! Он стоял внизу на песке, веселый, загорелый, в полосатой фуфайке, с голыми могучими руками (но это был Дик). Барышня вернулась в гостиницу, и трепета полна, принялась его ждать. Минуты ей казались часами. Он же, настоящий Игрек Иксович, видел из-за куста, как она смотрит с обрыва на Дика, его двойника, и теперь, выжидая, чтоб окончательно созрело ее сердце, беспокойно слонялся по поселку в городской паре, в сиреневом галстуке, в белых башмаках. Внезапно какая-то смуглая, яркоглазая девушка в красной юбке окликнула его с порога хижины, — всплеснула руками: “Как ты чудно одет, Дик! Я думала, что ты просто грубый рыбак, как все наши молодые люди, и я не любила тебя, — но теперь, теперь...” Она увлекла его в хижину. Шепот, запах рыбы, жгучие ласки...

Протекали часы... я открыл глаза, мой покой был весь облит зарею... Наконец, Игрек Иксович направился в гостиницу, где ждала его та — нежная единственная, которую он так любил. “Я была слепа! — воскликнула она, как только он вошел. — И вот — прозрела, увидя на солнечном побережье твою бронзовую наготу. Да, я люблю тебя, делай со мной все, что хочешь!” Шепот? Жгучие ласки? Протекали часы? — Нет, увы нет, отнюдь нет. Бедняга был истощен недавним развлечением, и грустно, понуро сидел, раздумывая над тем, как сам сдуру предал, обратил в ничто свой остроумнейший замысел...

Литература неважная, — сам знаю. Покамест я это писал, мне казалось, что выходит очень умно и ловко, — так иногда бывает со снами, — во сне великолепно, с блеском, говоришь, — а проснешься, вспоминаешь: вялая чепуха. С другой же стороны эта псевдоуайльдовская сказочка вполне пригодна для печатания в газете, — редактора любят потчевать читателей этакими чуть-чуть вольными, кокетливыми рассказчиками в сорок строк, с элегантною пуантой и с тем, что невежды называют парадокс (“Его разговор был усыпан парадоксами”). Да, пустяк, шалость пера, но как вы удивитесь сейчас, когда скажу, что пошлятину эту я писал в муках, с ужасом и скрежетом зубовным, яростно облегчая себя и вместе с тем сознавая, что никакое это не облегчение, а изысканное самоистязание, и что этим путем я ни от чего не освобожусь, а только пуще себя расстрою.

В таком приблизительно расположении духа я встретил Новый Год, — помню эту черную тушу ночи, дуру-ночь, затаившую дыхание, ожидавшую боя часов, сакраментального срока. За столом сидят Лида, Ардалион, Орловиус и я, неподвижные и стилизованные, как зверье на гербах: — Лида, положившая локоть на стол и настоженно поднявшая палец, голоплечая, в пестром, как рубашка игральной карты, платье; Ардалион, завернувшийся в плед (дверь на балкон открыта), с красным отблеском на толстом львином лице; Орловиус — в черном сюртуке, очки блестят, отложной воротничок поглотил края крохотного черного галстука; — и я, человек-молния, озаривший эту картину. Конечно, разрешаю вам двигаться, скорее сюда бутылку, сейчас пробьют часы. Ардалион разлил по бокалам шампанское, и все замерли опять. Боком и поверх очков, Орловиус глядел на старые серебряные часы, выложенные им на скатерть: еще две минуты. Кто-то на улице не выдержал — затрещал и лопнул, — а потом снова — напряженная тишина. Фиксируя часы, Орловиус медленно протянул к бокалу старческую, с когтями грифона, руку.

Внезапно ночь стала рваться по швам, с улицы раздались заздравные крики, мы по-королевски вышли с бокалами на балкон, —

над улицей взвивались, и бахнув, разражались цветными рыданиями ракеты, — и во всех окнах, на всех балконах, в клиньях и квадратах праздничного света, стояли люди, выкрикивали одни и те же бессмысленно радостные слова.

Мы все четверо чокнулись, я отпил глоток.

“За что пьет Герман?” — спросила Лида у Ардалиона.

“А я почему знаю, — ответил тот. — Все равно он в этом году будет обезглавлен, — за сокращение доходов”.

“Фу, как нехорошо, — сказал Орловиус. — Я пью за всеобщее здоровье”.

“Естественно”, — заметил я.

Спустя несколько дней, в воскресное утро, пока я мылся в ванне, постучала в дверь прислуга, — она что-то говорила, — шум льющейся воды заглушал слова, — я закричал: “в чем дело? что вам надо?” — но мой собственный крик и шум воды заглушали то, что Эльза говорила, и всякий раз, что она начинала сызнова говорить, я опять кричал, — как иногда двое не могут разминуться на широком, пустом тротуаре, — но наконец я догадался завернуть кран, подскочил к двери, и среди внезапной тишины Эльза отчетливо сказала:

“Вас хочет видеть человек”.

“Какой человек?” — спросил я и отворил на дюйм дверь.

“Какой-то человек”, — повторила Эльза.

“Что ему нужно?” — спросил я и почувствовал, что вспотел с головы до пят.

“Говорит, что по делу, и что вы знаете, какое дело”.

“Какой у него вид?” — спросил я через силу.

“Он ждет в прихожей”, — сказала Эльза.

“Вид какой, — я спрашиваю”.

“Бедный на вид, с рюкзаком”, — ответила она.

“Так пошлите его ко всем чертям! — крикнул я. — Пускай убежится мгновенно, меня нет дома, меня нет в Берлине, меня нет на свете!...”

Я прихлопнул дверь, щелкнул задвижкой. Сердце прыгало до горла. Прошло может быть полминуты. Не знаю, что со мной случилось, но, уже крича, я вдруг отпер дверь, полуголый выскочил из ванной, встретил Эльзу, шедшую по коридору на кухню.

“Задержите его, — кричал я. — Где он? Задержите!”

“Ушел, — ничего не сказал и ушел”.

“Кто вам велел...”, — начал я, но не закончил, помчался в спальню, оделся, выбежал на лестницу, на улицу. Никого, никого. Я дошел до угла, постоял, озираясь, и вернулся в дом. Лиды не было, спозаранку ушла к какой-то своей знакомой. Когда она вернулась, я сказал ей, что дурно себя чувствую и не пойду с ней в кафе, как было условлено.

“Бедный, — сказала она. — Ложись. Прими что-нибудь, у нас есть салипирин. Я, знаешь, пойду в кафе одна”.

Ушла. Прислуга ушла тоже. Я мучительно прислушивался, ожидая звонка. “Какой болван, — повторял я, — какой неслыханный болван!” Я находился в ужасном, прямо-таки болезненном и нестерпимом волнении, я не знал, что делать, я готов был молиться небытному Богу, чтобы раздался звонок. Когда стемнело, я не зажег света, а продолжал лежать на диване и все слушал, слушал, — он наверное еще придет до закрытия наружных дверей, а если нет, то уж завтра или послезавтра совсем, совсем наверное, — я умру, если он не придет, — он должен придти. Около восьми звонок наконец раздался. Я выбежал в прихожую.

“Фу, устала!” — по-домашнему сказала Лида, сдергивая на ходу шляпу и трясая волосами.

Ее сопровождал Ардалион. Мы с ним прошли в гостиную, а жена отправилась на кухню.

“Холодно, странничек, голодно”, — сказал Ардалион, грея ладони у радиатора.

Пауза.

“А все-таки, — произнес он, щурясь на мой портрет, — очень похоже, замечательно похоже. Это нескромно, но я всякий раз люблюсь им, — и вы хорошо сделали, сэр, что опять сбрили усы”.

“Кушать пожалуйста”, — нежно сказала Лида, приоткрыв дверь.

Я не мог есть, я продолжал прислушиваться, хотя теперь уже было поздно.

“Две мечты, — говорил Ардалион, складывая пласты ветчины, как это делают с блинами, и жирно чавкая. — Две райских мечты: выставка и поездка в Италию”.

“Человек, знаешь, больше месяца, как не пьет”, — объяснила мне Лида.

“Ах, кстати, — Перебродов у вас был?” — спросил Ардалион.

Лида прижала ладонь ко рту. “Забула, — проговорила она сквозь пальцы. — Сувсем забула”.

“Экая ты росомаха! Я ее просил вас предупредить. Есть такой несчастный художник, Васька Перебродов, пешком пришел из Данцига, — по крайней мере говорит, что из Данцига и пешком. Продает расписные портсигары. Я его направил к вам, Лида сказала, что поможете”.

“Заходил, — ответил я, — заходил, как же, и я его послал к чертовой матери. Был бы очень вам обязан, если бы вы не посылали ко мне всяких проходимцев. Можете передать вашему коллеге, чтобы он больше не утруждал себя хождением ко мне. Это в самом деле странно. Можно подумать, что я присяжный благотворитель. Пойдите к черту с вашим Перебродовым, я вам просто запрещаю!...”

“Герман, Герман”, — мягко вставила Лида.

Ардалион пукнул губами. “Грустная история”, — сказал он.

Еще некоторое время я продолжал браниться, точных слов не помню, да это и неважно.

“Действительно, — сказал Ардалион, косясь на Лиду, — кажется маху дал. Виноват”.

Вдруг замолчав, я задумался, мешая ложечкой давно размешанный чай, и погода проговорила вслух:

“Какой я все-таки остолоп”.

“Ну, зачем же сразу так перебарщивать”, — добродушно сказал Ардалион.

Моя глупость меня самого развеселила. Как мне не пришло в голову, что, если бы он вправду явился (а уже одно его появление было бы чудом, — ведь он даже имени моего не знает), с горничной должен был бы сделаться родимчик, ибо перед нею стоял бы мой двойник! Теперь я живо представил себе, как она бы вскрикнула, как прибежала бы ко мне, как, захлебываясь, завопила бы о сходстве... Я бы ей объяснил, что это мой брат, неожиданно прибывший из России... Между тем, я провел длинный, одинокий день в бессмысленных страданиях, — и вместо того, чтобы дивиться его появлению, старался решить, что случится дальше, — ушел ли он навсегда или явится, и что у него на уме, и возможно ли теперь воплощение моей так и непобеденной, моей дикой и чудной мечты, — или уже двадцать человек, знающих меня в лицо, видели его на улице, и все пошло прахом. Пораздумав над своим недомыслием, и над опасностью, так просто рассеявшейся, я почувствовал, как уже сказал, наплыв веселия и добросердия.

“Я сегодня нервен. Простите. Честно говоря, я просто не видал вашего симпатичного Перебродова. Он пришел некстати, я мылся, и Эльза сказала ему, что меня нет дома. Вот: передайте ему эти три марки, когда увидите его, — чем богат, тем и рад, — но скажите ему, что больше дать не в состоянии, пускай обратится, например, к Давыдову, Владимиру Исаковичу”.

“Это идея, — сказал Ардалион. — Я и сам там стрельну. Пьет он, между прочим, как зверь, Васька Перебродов. Спросите мою тетюшку, ту, которая вышла за французского фермера, — я вам рассказывал, — очень живая особа, но несосветимо скупа. У нее около Феодосии было имение, мы там с Васькой весь погреб выпили в двадцатом году”.

“А насчет Италии еще поговорим, — сказал я, улыбаясь, — да да, поговорим”.

“У Германа золотое сердце”, — заметила Лида. “Передай-ка мне колбасу, дорогая”, — сказал я все с той же улыбкой.

Я тогда не совсем понимал, что со мною творилось, — но теперь понимаю: глухо, но буйно — и вот: уже неудержимо — вновь нарастала во мне страсть к моему двойнику. Первым делом это выразилось в том, что в Берлине появилась для меня некая смутная точка, вокруг которой почти бессознательно, движимый невнятной силой, я начал замыкать круги. Густая синева почтового ящика, желтый толстошинный автомобиль со стилизованным черным орлом под решетчатым оконцем, почтальон с сумой на животе, идущий по улице медленно, с той особой медленностью, какая бывает в ухватках опытных рабочих, синий, прищуренный марочный автомат у вокзала и даже лавка, где в конвертах с просветом заманчиво теснятся аппетитно смешанные марки всех стран, — все вообще, связанное с почтой, стало оказывать на меня какое-то давление, какое-то неотразимое влияние. Однажды, помнится, почти как сомнамбул, я оказался в одном знакомом мне переулке, и вот уже близился к той смутной и притягательной точке, которая стала серединой моего бытия, — но как раз спохватился, ушел, — а через некоторое время, — через несколько минут, а может быть через несколько дней, — заметил, что снова, но с другой стороны, вступил в тот переулок. Навстречу мне с развальцем шли синие почтальоны и на углу разбрелись кто куда. Я повернул, кусая заусеницы, — я тряхнул головой, я еще противился. Главное: ведь я знал, страстным и безошибочным чутьем, что письмо для меня есть, что ждет оно моего востребования, — и знал, что рано или поздно поддамся соблазну.

ГЛАВА VII

Во-первых: эпитафия, но не к этой главе, а так, вообще: литература это любовь к людям. Теперь продолжим.

В помещении почтамта было темновато. У окошек стояло по два по три человека, все больше женщины. В каждом окошке, как тусклый портрет, виднелось лицо чиновника. Вон там — номер девятый. Я не сразу решился... Подойдя сначала к столу посреди помещения — столу, разделенному перегородками на конторки, я притворился перед самим собой, что мне нужно кое-что написать, нашел в кармане старый счет и на обороте принялся выводить первые попавшиеся слова. Казенное перо неприятно трещало, я совал его в дырку чернильницы, в черный плевок, по бледному бювару, на который я облокотился, шли, так и сяк скрещиваясь, отпечатки неведомых строк, — иррациональный почерк, минус-почерк, — что всегда напоминает мне зеркало, — минус на минус дает плюс. Мне пришло в голову, что и Феликс некий минус я, — изумительной важности мысль, которую я напрасно, напрасно до конца не продумал. Между тем чудосочное перо в моей руке писало такие слова: Не надо, не хочу, хочу, чухонец, хочу, не надо, ад. Я смял листок в кулаке, нетерпеливая толстая женщина протиснулась и схватила освободившееся перо, отбросив меня ударом каракулевого крупа. Я вдруг оказался перед окошком номер девять. Большое лицо с бледными усами вопросительно посмотрело на меня. Шепотом я сказал пароль. Рука с черным чехольчиком на указательном пальце протянула мне целых три письма. Мне кажется, все это произошло мгновенно, — и через мгновение я уже шагал по улице прижимая руку к груди. Дойдя до ближайшей скамьи, сел и жадно распечатал письма.

Поставьте там памятник, — например желтый столб. Пусть будет отмечена вещественной вехой эта минута. Я сидел и читал, — и вдруг меня стал душить нежданный и неудержимый смех. Господа, то были письма шантажного свойства! Шантажное письмо, за которым может быть никто и никогда не придет, шантажное письмо, которое посылается до востребования и под условным шифром, то есть с откровенным признанием, что отправитель не знает ни адреса, ни имени получателя — это безумно смешной парадокс! В первом из этих трех писем — от середины ноября, — шантажный

мотив еще звучал под сурдинкой. Оно дышало обидой, оно требовало от меня объяснений, — пишуший поднимал брови, готовый впрочем улыбнуться своей высокобровей улыбкой, — он не понимал, он очень хотел понять, почему я вел себя так таинственно, ничего не договорил, скрылся посреди ночи... Некоторые все-же подозрения у него были, — но он еще не желал играть в открытую, был готов эти подозрения утаить от мира, ежели я поступлю, как нужно, — и с достоинством выражал свое недоумение, и с достоинством ждал ответа. Все это было до-нельзя безграмотно и вместе с тем манерно, — эта смесь и была его стилем. В следующем письме — от конца декабря (какое терпение: ждал месяц!) — шантажная музыка уже доносилась гораздо отчетливее. Уже ясно было, отчего он вообще писал. Воспоминание о тысячемарковом билете, об этом серо-голубом видении, мелькнувшем перед его носом и вдруг исчезнувшем, терзало душу, вожеление его было возбуждено до крайности, он облизывал сухие губы, не мог простить себе, что выпустил меня и со мной — обольстительный шелест, от которого зудело в кончиках пальцев. Он писал, что готов встречаться со мной снова, что многое за это время обдумал, — но что если я от встречи уклонюсь или просто не отвечу, то он принужден будет... и тут распласталась огромная клякса, которую подлец поставил нарочно — с целью меня заинтриговать, — ибо сам совершенно не знал, какую именно объявить угрозу. Наконец, третье письмо, январское, было для Феликса настоящим шедевром. Я его помню подробнее других, так как несколько дольше других оно у меня пребывало... “Не получив ответа на мои прежние письма, мне начинает казаться, что пора-пора принять известные меры, но все-таки я вам даю еще месяц на размышления, после чего обращусь в такое место, где ваши поступки будут вполне и полностью оценены, а если и там симпатии не встречу, ибо кто неподкупен, то прибегну к воздействию особого рода, что вообразить я всецело предоставляю вам, так как считаю, что когда власти не желают да и только карать мошенников, долг всякого честного гражданина учинить по отношению к нежелательному лицу такой разгром и шум, что поневоле государство будет принуждено реагировать, но входя в ваше личное положение, я готов по соображениям доброты и услужливости от своих намерений отказаться и никакого грохота не делать под тем условием, что вы в течение сего месяца пришлете мне, пожалуйста, довольно большую сумму для покрытия всех тревог, мною понесенных, размер которой оставляю на ваше почтенное усмотрение”. Подпись: “Воробей”, а ниже — адрес провинциального почтамта.

Я долго наслаждался этим последним письмом, всю прелесть которого едва-ли может передать посильный мой перевод. Мне все нравилось в нем — и торжественный поток слов, не стесненных ни

одной точкой, и тупая, мелкая подлость этого невинного на вид человека, и подразумеваемое согласие на любое мое предложение, как бы оно ни было гнусно лишь бы пресловутая сумма попала ему в руки. Но главное, что доставляло мне наслаждение, — наслаждение такой силы и полноты, что трудно было его выдержать, — состояло в том, что Феликс сам, без всякого моего принуждения, вновь появлялся, предлагал мне свои услуги, — более того, заставлял меня эти услуги принять и, делая все то, что мне хотелось, при этом как бы снимал с меня всякую ответственность за роковую последовательность событий.

Я трясся от смеха, сидя на той скамье, — о поставьте там памятник — желтый столб — непременно поставьте! Как он себе представлял, этот балда: что его письма будут каким-то телепатическим образом подавать мне весть о своем прибытии? что, чудом прочтя их, я чудом поверю в силу его призрачных угроз? А ведь забавно, что я действительно почувствовал появление его писем за окошком номер девять и действительно собирался ответить на них, — точно впрямь убоюсь их угроз, — то есть исполнялось все, что он по неслыханной, наглой глупости своей предполагал, что исполнится. И сидя на скамье, и держа эти письма в горячих своих объятиях, я почувствовал, что замысел мой наметился окончательно, что все готово или почти готово, — не хватало двух-трех штрихов, наложение которых труда не представляло. Да и что такое труд в этой области? Все делалось само собой, все текло и плавно сливалось, принимая неизбежные формы — с того самого мига, как я впервые увидел Феликса, — ах, разве можно говорить о труде, когда речь идет о гармонии математических величин, о движении планет, о плановности природных законов? Чудесное здание строилось как бы помимо меня, — да, все с самого начала мне пособляло, — и теперь, когда я спросил себя, что напишу Феликсу, я понял, без большого впрочем удивления, что это письмо уже имеется в моем мозгу, — готово, как те поздравительные телеграммы с виньеткой, которые за известную приплату можно послать новобрачным. Следовало только вписать в готовый формуляр дату, — вот и все.

Поговорим о преступлениях, об искусстве преступления, о карточных фокусах, я очень сейчас возбужден. Конан Дойль! Как чудесно ты мог завершить свое творение, когда надоели тебе герои твои! Какую возможность, какую тему ты профукал? Ведь ты мог написать еще один последний рассказ, — заключение всей шерлоковской эпопеи, эпизод, венчающий все предыдущие: убийцей в нем должен был бы оказаться не одноногий бухгалтер, не китаец Чинг, и не женщина в красном, а сам Пимен всей криминальной летописи, сам доктор Ватсон, — чтобы Ватсон был бы, так сказать, виноватсон... Безмерное удивление читателя! Да что Дойль, Достоевский, Леблан, Уоллес, что все великие романисты, писавшие

о ловких преступниках, что все великие преступники, не читавшие ловких романистов! Все они невежды по сравнению со мной. Как бывает с гениальными изобретателями, мне конечно помог случай (встреча с Феликсом), но этот случай попал как раз в формочку, которую я для него уготовил, этот случай я заметил и использовал, чего другой на моем месте не сделал бы. Мое создание похоже на пасьянс, составленный наперед: я разложил открытые карты так, чтобы он выходил наверняка, собрал их в обратном порядке, дал приготовленную колоду другим, — пожалуйста, разложите, — ручаюсь, что выйдет! Ошибка моих бесчисленных предтечей состояла в том, что они рассматривали самый акт, как главное и уделяли больше внимания тому, как потом замести следы, нежели тому, как наиболее естественно довести дело до этого самого акта, ибо он только одно звено, одна деталь, одна строка, он должен естественно вытекать из всего предыдущего, — таково свойство всех искусств. Если правильно задумано и выполнено дело, сила искусства такова, что, явись преступник на другой день с повинной, ему бы никто не поверил, — настолько вымысел искусства правдивее жизненной правды.

Все это, помнится, промелькнуло у меня в голове именно тогда, когда я сидел на скамье с письмами в руках, — но тогда было одно, теперь — другое; я бы внес теперь небольшую поправку, а именно ту, что, как бывает и с волшебными произведениями искусства, которых чернь долгое время не признает, не понимает, коих обаянию не поддается, так случается и с самым гениально продуманным преступлением: гениальности его не признают, не дивятся ей, а сразу выискивают, что бы такое раскритиковать, охаять, чем бы таким побольнее уязвить автора, и кажется им, что они нашли желанный промах, — вот они гогочут, но ошиблись они, а не автор, — нет у них тех изумительно зорких глаз, которыми снабжен автор, и не видят они ничего особенного там, где автор увидел чудо.

Посмеявшись, успокоившись, ясно обдумав дальнейшие свои действия, я положил третье, самое озорное, письмо в бумажник, а два остальных разорвал на мелкие клочки, бросил их в кусты соседнего сквера, при чем мигом слетелось несколько воробьев, приняв их за крошки. Затем, отправившись к себе в контору, я настукал письмо к Феликсу с подробными указаниями, куда и когда явиться, приложил двадцать марок и вышел опять. Мне всегда трудно разжать пальцы, держащие письмо над щелью — это вроде того, как прыгнуть в холодную воду или в воздух с парашютом, — и теперь мне было особенно трудно выпустить письмо, — я, помнится, переглотнул, зарябило под ложечкой, — и, все еще держа письмо в руке, я пошел по улице, остановился у следующего ящика, и повторилась та же история. Я пошел дальше, все еще нагруженный письмом, как бы сгибаясь под бременем этой огромной белой ноши,

и снова через квартал увидел ящик. Мне уже надоела моя нерешительность — совершенно беспричинная и бессмысленная в виду твердости моих намерений, — быть может, просто физическая, машинальная нерешительность, нежелание мышц ослабнуть, — или еще, как сказал бы марксистский комментатор (а марксизм подходит ближе всего к абсолютной истине, да-с), нерешительность собственника, все не могущего, такая уж традиция в крови, расстаться с имуществом, — при чем в данном случае имущество измерялось не просто деньгами, которые я посылал, а той долей моей души, которую я вложил в строки письма. Но как бы там ни было, я колебания свои преодолел, когда подходил к четвертому или пятому ящику, и знал с той же определенностью, как знаю сейчас, что напишу эту фразу, знал, что уж теперь наверное опущу письмо в ящик — и даже сделаю потом этакий жестик, побью ладонь о ладонь, точно могли к перчаткам пристать какие то пылинки от этого письма, уже брошенного, уже не моего, и потому и пыль от него тоже не моя, дело сделано, все чисто, все кончено, — но письма я в ящик все-таки не бросил, а замер, еще согбенный под ношей, глядя исподлобья на двух девочек, игравших возле меня на панели: они по очереди кидали стекляннo-радужный шарик, метя в ямку, там, где панель граничила с землей. Я выбрал младшую, — худенькую, темноволосую, в клетчатом платице, как ей не было холодно в этот суровый февральский день? — и, потрепав ее по голове, сказал ей: “Вот что, детка, я плохо вижу, очень близорук, боюсь, что не попаду в щель, — опусти письмо за меня вон в тот ящик”. Она посмотрела, поднялась с корточек, у нее лицо было маленькое, прозрачно-бледное и необыкновенно красивое, взяла письмо, чудно улыбнулась, хлопнув длинными ресницами, и побежала к ящику. Остального я не доглядел, а пересек улицу, — щурясь, (это следует отметить), как будто действительно плохо видел, и это было искусство ради искусства, ибо я уже отошел далеко. На углу следующей площади я вошел в стеклянную будку и позвонил Ардалиону: мне было необходимо кое-что предпринять по отношению к нему, я давно решил, что именно этот въедливый портретист — единственный человек, для меня опасный. Пускай психологи выясняют, навела ли меня притворная близорукость на мысль тотчас исполнить то, что я насчет Ардалиона давно задумал, или же напротив постоянное воспоминание о его опасных глазах толкнуло меня на изображение близорукости. Ах, кстати, кстати... она подрастет, эта девочка, будет хороша собой и вероятно счастлива, и никогда не будет знать, в каком диковинном и страшном деле она послужила посредницей, — а впрочем возможно и другое: судьба, нетерпящая такого бессознательного, наивного маклерства, завистливая судьба, у которой самой губа не дура, которая сама знает толк в мелком жульничестве, жестоко девочку эту покарает, за

вмешательство, а та станет удивляться, почему я такая несчастная, за что мне это, и никогда, никогда, никогда ничего не поймет. Моя же совесть чиста. Не я написал Феликсу, а он мне, не я послал ему ответ, а неизвестный ребенок.

Когда я пришел в скромное, но приятное кафе, напротив которого, в сквере, бьет в летние вечера и как будто вертится муаровый фонтан, остроумно освещаемый снизу разноцветными лампами (а теперь все было голо и тускло, и не цвел фонтан, и в кафе толстые портьеры торжествовали победу в классовой борьбе с бродячими сквозняками, — как я здорово пишу и, главное, спокоен, совершенно спокоен), когда я пришел Ардалион уже там сидел и, увидев меня, поднял по-римски руку. Я снял перчатки, белое шелковое кашнэ и сел рядом с Ардалионом, выложив на стол коробку дорогих папирос.

“Что скажете новенького?” — спросил Ардалион, всегда говоривший со мной шутовским тоном. Я заказал кофе и начал примерно так:

“Кое-что у меня для вас действительно есть. Последнее время, друг мой, меня мучит сознание, что вы погибаете. Мне кажется, что из-за материальных невзгод и общей затхлости вашего быта талант ваш умирает, чахнет, не бьет ключом, все равно как теперь зимою не бьет цветной фонтан в сквере напротив”.

“Спасибо за сравнение, — обиженно сказал Ардалион. — Какой ужас... хорошенькое освещение под монпансье. Да и вообще — зачем говорить о таланте, вы же не понимаете в искусстве ни кие”.

“Мы с Лидой не раз обсуждали, — продолжал я, игнорируя его пошлое замечание, — незавидное ваше положение. Мне кажется, что вам следовало бы переменить атмосферу, освежиться, набраться новых впечатлений”.

“При чем тут атмосфера”, — поморщился Ардалион.

“Я считаю, что здешняя губит вас, — значит при чем. Эти розы и персики, которыми вы украшаете столовую вашей хозяйки, эти портреты почтенных лиц, у которых вы норовите поужинать — — ”

“Ну уж и норовлю...”

“— — все это может быть превосходно, даже гениально, но — простите за откровенность — как то однообразно, вынуждено. Вам следовало бы пожить среди другой природы, в лучах солнца, — солнце друг художников. Впрочем, этот разговор вам повидимому неинтересен. Поговорим о другом. Скажите, например, как обстоит дело с вашим участком?”

“А черт его знает. Мне присылают какие-то письма по-немецки, я бы попросил вас перевести, но скучно, да и письма эти либо теряю, либо рву. Требуют кажется добавочных взносов. Летом возьму и построю там дом. Они уж тогда не вытянут из под-него землю.

Но вы что-то говорили, дорогой, о перемене климата. Валяйте, — я слушаю”.

“Ах зачем же, вам это неинтересно. Я говорю резонные вещи, а вы раздражаетесь”.

“Христос с вами, — с чего бы я стал раздражаться? Напротив, напротив...”

“Да нет, зачем же”.

“Вы, дорогой, упомянули об Италии. Жарьте дальше. Мне нравится эта тема”.

“Еще не упоминал, — сказал я со смехом. — Но раз вы уже сказали это слово... Здесь, между прочим, довольно уютно. Вы, говорят, временно перестали...?” — я многозначительно пощелкал себя по шее.

“Оного больше не потребляю. Но сейчас, знаете, я бы чего-нибудь такого за компанию... Соснак из легких виноградных вин... Нет, шучу”.

“Да, не нужно, это ни к чему, меня все равно напоить невозможно. Вот значит, какие дела. Ох, плохо я сегодня спал... Ох-о-хох. Ужасная вещь бессонница”, — продолжал я, глядя на него сквозь слезы. — “Ох... Простите, раззевался”.

Ардалион, мечтательно улыбаясь, играл ложечкой. Его толстое лицо с львиной переносицей было наклонено, и рыжие веки в бородавках ресниц полуприкрывали его возмутительно яркие глаза. Вдруг, блеснув на меня, он сказал:

“Если бы я съездил в Италию, то действительно написал бы роскошные вещи. Из выручки за них я бы сразу погасил свой долг”.

“Долг? У вас есть долги?” — спросил я насмешливо.

“Полно-те, Герман Карлович, — проговорил он, впервые кажется назвав меня по имени-отчеству, — вы же понимаете, куда я гну. Одолжите мне сотенку, другую, и я буду молиться за вас во всех флорентийских церквях”.

“Вот вам пока что на визу, — сказал я, распахнув бумажник. — Только сделайте это немедленно, а то пропъете. Завтра же утром пойдите”.

“Дай лапу”, — сказал Ардалион.

Некоторое время мы оба молчали, — он от избытка мало интересных мне чувств, я потому, что дело было сделано, говорить же было не о чем.

“Идея, — вдруг воскликнул Ардалион, — почему бы вам, дорогой, не отпустить со мной Лидку, ведь тут тощища страшная, барыньке нужны развлечения. Я, знаете, если поеду один... Она ведь ревнующая, — ей все будет казаться, что где-то нализываюсь. Право же, отпустите ее со мной на месяц, а?”

“Может быть, погода придет, — оба приедем, — я тоже давно мечтаю о небольшом путешествии. Ну-с, мне нужно идти. Два кофе, — все, кажется”.

ГЛАВА VIII

На следующий день спозаранку — не было еще девяти — я отправился на одну из центральных станций подземной дороги и там у выхода занял стратегическую позицию. Через ровные промежутки времени из каменных недр вырывалась наружу очередная партия людей с портфелями — вверх по лестнице, шаркая, топая, иногда со звяком стучался носок о металл объявления, которым какая-то фирма находит уместным облицовывать подъем ступеней. На предпоследней, спиной к стене, держа перед собою шляпу (кто был первый гениальный нищий, применивший шляпу к своей профессии?), нарочито сутулился пожилой оборванец. Повыше стояли, увешанные плакатами, газетчики в шутовских фуражках. Был темный жалкий день; несмотря на гетры, у меня мерзли ноги. Наконец, ровно без пяти девять, как я и рассчитывал, появилась из глубины фигура Орловиуса. Я тотчас повернулся и медленно пошел прочь. Орловиус перегнал меня, оглянулся, оскалил свои прекрасные, но фальшивые зубы. Встреча вышла как бы случайной, что мне и нужно было.

“Да, по пути, — ответил я на его вопрос. — Хочу зайти в банк”.

“Собачья погода, — сказал Орловиус, шлепая рядом со мной. — Как поживает ваша супруга?”

“Спасибо, благополучно”.

“А у вас все идет хорошо?” — учтиво продолжал он.

“Не очень. Нервное настроение, бессонница, всякие пустяки, которые прежде забавляли бы меня, а теперь раздражают”.

“Кушайте лимоны”, — вставил Орловиус.

“Прежде забавляли бы, а теперь раздражают. Вот например — —” я усмехнулся и высунул бумажник “— — получил я дурацкое шантажное письмо, и оно как-то повлияло на меня. Кстати, прочтите, — курьезно”.

Орловиус остановился и близко придвинул листок к очкам. Пока он читал, я рассматривал витрину, где торжественно и глупо белели две ванны и разные другие туалетные снаряды, — а рядом был магазин гробов, и там тоже все было торжественно и глупо.

“Однако, — сказал Орловиус. — Знаете ли вы, кто это написал?”

Я положил письмо обратно в бумажник и ответил, посмеиваясь:

“Да, конечно знаю. Проходимец. Служил когда-то у знакомых. Ненормальный, даже просто безумный субъект. Вбил себе в голову,

что я лишил его какого-то наследства, — знаете, как это бывает, — навязчивая идея, и ничем ее не вышибешь”.

Орловиус подробно объяснил мне, какую опасность безумцы представляют для общества, и спросил, не собираюсь ли я обратиться в полицию.

Я пожал плечами. “Ерунда, в общем не стоит об этом говорить. Что вы думаете о речи канцлера, — читали?”

Мы продолжали идти рядом, мирно беседуя о внешней и внутренней политике. У дверей его конторы я по правилу русской вежливости стал снимать перчатку.

“Вы нервозны, это плохо, — сказал Орловиус. — Прошу вас, кланяйтесь вашей супруге”.

“Поклонюсь, поклонюсь. Только знаете, — я вам завидую, что вы неженаты”.

“Как так?” — спросил Орловиус.

“А так. Тяжело касаться этого, но брак мой несчастлив. Моя супруга сердце имеет зыбковатое, да и есть у нее привязанность на стороне, — да, легкое и холодное существо, так что не думаю, чтоб она долго плакала, если бы со мною... если бы я... Однако, простите, все это очень личные печали”

“Кое-что я давно наблюдал”, — сказал Орловиус, качая головой, глубокомысленно и сокрушенно.

Я пожал его шерстяную руку, мы расстались. Вышло великолепно. Таких людей, как Орловиус, весьма легко провести, ибо порядочность плюс сентиментальность как раз равняется глупости. Готовый всякому сочувствовать, он не только стал тотчас на сторону благородного любящего мужа, когда я оклеветал мою примерную жену, но еще решил про себя, что сам кое-что заметил, “наблюдал” — как он выразился. Мне было бы презанятно узнать, что этот подслеповатый осел мог заметить в наших безоблачных отношениях. Да, вышло великолепно. Я был доволен. Я был бы еще более доволен, кабы не заминка с визой. Ардалион с помощью Лиды заполнил анкетные листы, но оказалось, что он визу получит не раньше, чем через две недели. Оставалось около месяца до девятого марта, — в крайнем случае, я всегда мог написать Феликсу о перемене даты.

Наконец — в последних числах февраля — Ардалиону визу поставили, и он купил себе билет. Кроме денег на билет, я дал ему еще двести марок. Он решил ехать первого марта, — но вдруг выяснилось, что успел он деньги кому-то одолжить и принужден ждать их возвращения. К нему будто бы явился приятель, схватился за виски и простонал: “если я к вечеру не добуду двухсот марок, все погублю”. Довольно таинственный случай; Ардалион говорил, что тут “дело чести”, — я же питаю сильнейшее недоверие к туманным

делам, где замешана честь, причем, заметьте, не своя, голодранцева, а всегда честь какого то третьего или даже четвертого лица, имя которого хранится в секрете. Ардалион будто бы деньги ему дал, и тот поклялся, что вернет их через три дня, — обычный срок у этих потомков феодалов. По истечении сего срока Ардалион пошел должника разыскивать и, разумеется, нигде не нашел. В ледяном бешенстве я спросил, как его зовут. Ардалион помялся и сказал: “Помните, тот, который к вам раз заходил”. Я, как говорится, света не взвидел.

Успокоившись, я, пожалуй, и возместил бы ему убыток, если бы дело не усложнялось тем, что у меня самого денег было в обрез, — а мне следовало непременно иметь при себе некоторую сумму. Я сказал ему, что пусть едет так как есть, с билетом и несколькими марками в кармане, — потом дошлю. Он ответил, что так и сделает, но еще обождет денька два, авось деньги вернутся. Действительно, третьего марта он сообщил мне по телефону, что долг ему возвращен, и что завтра вечером он едет. Четвертого оказалось, что Лида, у которой почему-то хранился Ардалионов билет, не может теперь вспомнить, куда его положила. Ардалион мрачно сидел в прихожей и повторял: “Ну что ж, значит — не судьба”. Издали доносился стук ящиков, неистовое шерошение бумаги, — это Лида искала билет. Через час Ардалион махнул рукой и ушел. Лида сидела на постели, плача навзрыд. Пятого утром она нашла билет среди грязного белья, приготовленного для прачки, а шестого мы поехали Ардалиона провожать.

Поезд отходил в 10.10. Стрелка часов делала стойку, нацеливаясь на минуту, вдруг прыгала на нее, и вот уже нацеливалась на следующую. Ардалиона все не было. Мы ждали у вагона с надписью “Милан”. “В чем дело? — причитывала Лида. — Почему его нет, я беспокоюсь”. Вся эта идиотская канитель с Ардалионовым отъездом меня так бесила, что теперь я боялся разжать зубы, — иначе со мной бы тут же на вокзале сделался какой-нибудь припадок. К нам подошли двое мизерных господ, — один в синем макинтоше, другой в русском пальто с облезлым барашковым воротником, — и, минуя меня, любезно поздоровались с Лидой.

“Почему его нет? Как вы думаете?” — спросила Лида, глядя на них испуганными глазами и держа на отлете букетик фиалок, который она нашла нужным для этой скотины купить. Макинтош развел руками, а барашковый проговорил басом:

“Несцимус. Мы не знаем”.

Я почувствовал, что не могу дольше сдерживаться и, круто повернувшись, пошел к выходу. Лида меня догнала: “Куда ты, погоди, — я уверена, что — —”

В эту минуту появился вдали Ардалион. Угрюмый человек с напряженным лицом поддерживал его под локоть и нес его чемодан.

Ардалион был так пьян, что едва держался на ногах; вином несло и от угрюмца.

“Он в таком виде не может ехать!” — крикнула Лида.

Красный, с бисером пота на лбу, растерянный, валкий, без пальто (смутный расчет на тепло юга), Ардалион полез со всеми лобызаться. Я едва успел отстраниться.

“Художник Керн, — отрекомендовался угрюмец, сунув мне влажную руку. — Имел счастье с вами встречаться в притонах Каира”.

“Герман, его так нельзя отпустить”, — повторяла Лида, теребя меня за рукав.

Между тем двери уже захлопывались. Ардалион, качаясь и призывно крича, пошел было за повозкой продавца бисквитов, но друзья поймали его, и вдруг он в охапку сгреб Лиду и стал смачно ее целовать.

“Эх ты, коза, — приговаривал он. — Прощай, коза, спасибо, коза.”

“Господа, — сказал я совершенно спокойно, — помогите мне его поднять в вагон”.

Поезд поплыл. Сияя и вопя, Ардалион прямо-таки вываливался из окна. Лида бежала рядом и кричала ему что-то. Когда проехал последний вагон, она, согнувшись, посмотрела под колеса и перекрестилась. В руке она все еще держала букет.

Какое облегчение... Я вздохнул всей грудью и шумно выпустил воздух. Весь день Лида молча волновалась, но потом пришла телеграмма, два слова “Привет сдороги”, и она успокоилась. Теперь предстояло последнее и самое скучное: поговорить с ней, натаскать ее.

Почему-то не помню, как я к этому разговору приступил: память моя включается, когда уже разговор в полном ходу. Лида сидит против меня на диване и на меня смотрит в немом изумлении. Я сижу на кончике стула, изредка, как врач, трогаю ее за кисть — и ровным голосом говорю, говорю, говорю. Я рассказал ей то, чего не рассказывал никогда. Я рассказал ей о младшем моем брате. Он учился в Германии, когда началась война, был призван, сражался против России. Помню его тихим, унылым мальчиком. Меня родители били, а его баловали, но он был с ними неласков, зато ко мне относился с невероятным, более чем братским, обожанием, всюду следовал за мной, заглядывал в глаза, любил все, что меня касалось, любил нюхать и мять мой платок, надевать еще теплую мою сорочку, чистить зубы моей щеткой. Нет, — не извращенность, а сильное выражение неизъяснимого нашего единства: мы были так похожи друг на друга, что даже близкие родственники путали нас, и с годами это сходство становилось все безупречнее. Когда, помнится, я его провожал в Германию — это было незадолго до выстрела Принципа, — бедняжка так рыдал, так рыдал, — будто

предчувствовал долгую и грозную разлуку. На вокзале смотрели на нас, — смотрели на этих двоих одинаковых юношей, державшихся за руки и глядевших друг другу в глаза с каким-то скорбным восторгом... Потом война. — Томясь в далеком русском плену, я ничего о брате не слышал, но почему-то был уверен, что он убит. Душные годы, траурные годы. Я приучил себя не думать о нем, и даже потом, когда женился, ничего Лиде о нем не рассказал, — уж слишком все это было тягостно. А затем, вскоре по приезде с женой в Германию, я узнал от немецкого родственника, появившегося мимоходом, на миг, только ради одной реплики, что Феликс мой жив, но нравственно погиб. Не знаю, что именно, какое крушение души... Должно быть, его нежная психика не выдержала бранных испытаний, — а мысль, что меня уже нет (странно, — он был тоже уверен в смерти брата), что он больше никогда не увидит обожаемого двойника, или, вернее, усовершенствованное издание собственной личности, эта мысль изуродовала его жизнь, ему показалось, что он лишился опоры и цели, — и что отныне можно жить кое-как. И он опустил ся. Этот человек, с душой как скрипка, занимался воровством, подлогами, нюхал кокаин и наконец совершил убийство: отравил женщину, содержавшую его. О последнем деле я узнал из его-же уст; к ответственности его так и не привлекли, настолько ловко он скрыл преступление. А встретился я с ним так случайно, так неожиданно и мучительно... подавленность, которую даже Лида во мне замечала, была как раз следствием той встречи, а произошла она в Праге, в одном кафе, — он, помню, встал, увидя меня, раскрыл объятья и повалился навзничь в глубоком обмороке, длившемся восемнадцать минут.

Да, страшная встреча. Вместо нежного, маленького увальня, я нашел говорливого безумца с резкими телодвижениями... Счастье, которое он испытал, встретив меня, дорогого Германа, внезапно, в чудном сером костюме, восставшего из мертвых, не только не поправило его душевных дел, но совсем, совсем напротив, убедило его в недопустимости и невозможности жить с убийством на совести. Между нами произошла ужасная беседа, он целовал мои руки, он прощался со мной... Я сразу же понял, что поколебать в нем решение покончить с собой уже не под силу никому, даже мне, имевшему на него такое идеальное влияние. Для меня это были нелегкие минуты. Ставя себя на его место, я отлично представлял себе, в какой изошренный застенок превратилась его память, и понимал, увы, что выход один — смерть. Не дай Бог никому переживать такие минуты, видеть, как брат гибнет, и не иметь морального права гибель его предотвратить... Но вот в чем сложность: его душа, нечуждая мистических устремлений, непременно жаждала искупления, жертвы, — просто пустить себе пулю в лоб казалось ему недостаточным. “Я хочу смерть мою кому-нибудь

подарить, — внезапно сказал он, и глаза его налились бриллиантовым светом безумия. — Подарить мою смерть. Мы с тобой еще больше схожи, чем прежде. В этом сходстве я чувствую божественное намерение. Наложить на рояль руки еще не значит сотворить музыку, а я хочу музыки. Скажи, тебе может-быть выгодно было бы исчезнуть со света?” Я сначала не понял его вопроса, мне сдавалось, что Феликс бредит, — но из его дальнейших слов выяснилось, что у него есть определенный план. Так! С одной стороны бездна страждущего духа, с другой — деловые проекты. При грозном свете его трагической судьбы и позднего геройства та часть его плана, которая касалась меня, моей выгоды, моего благополучия, казалась глуповато-материальной, как — скажем — громоотвод на здании банка, вдруг освещенный ночью молнией.

Дойдя примерно до этого места моего рассказа, я остановился, откинулся на спинку стула, сложив руки и пристально глядя на Лиду. Она как-то стекла с дивана на ковер, подползла на коленях, прижалась головой к моему бедру и заглушенным голосом принялась меня утешать: “Какой ты бедный, — бормотала она, — как мне больно за тебя, за брата... Боже мой, какие есть несчастные люди на свете. Он не должен погибнуть, всякого человека можно спасти”.

“Его спасти нельзя, — сказал я с так называемой горькой усмешкой. — Он решил умереть в день своего рождения, девятого марта, то есть послезавтра, воспрепятствовать этому не может сам президент. Самоубийство есть самодурство. Все, что можно сделать, это исполнить каприз мученика, облегчить его участь сознанием, что, умирая, он творит доброе дело, приносит пользу, — грубую, материальную пользу, — но все же пользу”.

Лида обхватила мою ногу и уставилась на меня своими шоколадными глазами.

“Его план таков, — продолжал я ровным тоном, — жизнь моя, скажем, застрахована в столько-то тысяч. Где-нибудь в лесу находят мой труп. Моя вдова, то есть ты...”

“Не говори таких ужасов, — крикнула Лида, вскочив с ковра. — Я только что где-то читала такую историю... Пожалуйста, замолчи...”

“... моя вдова, то есть ты, получает эти деньги. Погодя уезжает в укромное место. Погодя я инкогнито соединяюсь с нею, даже может быть снова на ней женюсь — под другим именем. Мое, ведь, имя умрет с моим братом. Мы с ним схожи, не перебивай меня, как две капли крови, и особенно будет он на меня похож в мертвом виде”.

“Перестань, перестань! Я не верю, что его нельзя спасти... Ах, Герман, как это все нехорошо... Где он сейчас, тут, в Берлине?”

“Нет, в провинции... Ты, как дура, повторяешь: спасти, спасти... Ты забываешь, что он убийца и мистик. Я же со своей стороны не имею права отказать ему в том, что может облегчить и украсить его смерть. Ты должна понять, что тут мы вступаем в некую высшую область. Ведь я же не говорю тебе: послушай, дела мои идут плохо, я стою перед банкротством, мне все опротивело, я хочу уехать в тихое место и там предаваться созерцанию и куроводству, — давай воспользуемся редким случаем, — всего этого я не говорю, хотя я мечтаю о жизни на лоне природы, — а говорю другое, — я говорю: Как это ни тяжело, как это ни страшно, но нельзя отказать родному брату в его предсмертной просьбе, нельзя помешать ему сделать добро, — хотя бы такое добро...”

Лида перемигнула, — я ее совсем заплелал, — но вопреки прыщущим словам прижалась ко мне, хватая меня, а я продолжал:

“... Такой отказ — грех, этот грех не хочу, не хочу брать на свою совесть. Ты думаешь, я не возражал ему, не старался его образумить, ты думаешь, мне легко было согласиться на его предложение, ты думаешь, я спал все эти ночи, — милая моя, вот уже полгода, как я страдаю, страдаю так, как моему злейшему врагу не дай Бог страдать. Очень мне нужны эти тысячи! Но как мне отказаться, скажи, как могу я в конец замучить, лишить последней радости... Э, да что говорить!”

Я отстранил ее, почти отбросил и стал шагать по комнате. Я глотал слезы, я всхлипывал. Метались малиновые тени мелодрам.

“Ты в миллион раз умнее меня, — тихо сказала Лида, ломая руки (да, читатель, дикси, ломая руки), — но все это так страшно, так ново, мне казалось, что это только в книгах... Ведь это значит... Все ведь абсолютно переменится, вся жизнь... Ведь... Ну, например, как будет с Ардалионом?”

“А ну его к чертовой матери! Тут речь идет о величайшей человеческой трагедии, а ты мне суешь...”

“Нет, я просто так спросила. Ты меня огорошил, у меня все идет кругом. Я думаю, что — ну, не сейчас, а потом, ведь можно будет с ним видаться, ему объяснить, — Герман, как ты думаешь?”

“Не заботься о пустяках, — сказал я, дернувшись, — там будет видно. Да что это в самом деле (голос мой вдруг перешел в тонкий крик), что ты вообще за колода такая...”

Она расплакалась и сделалась вдруг податливой, нежной, припала ко мне вздрагивая: “Прости меня, — лепетала она, — ах, прости... Я правда дура. Ах, прости меня. Весь этот ужас, который случился... Еще сегодня утром все было так ясно, так хорошо, так всегдашненько... Ты настрадался, милый, я безумно жалею тебя. Я сделаю все, что ты хочешь”.

“Сейчас я хочу кофе, ужасно хочу”.

“Пойдем на кухню, — сказала она, утирая слезы. — Я все сделаю. Только побудь со мной, мне страшно”.

На кухне, все еще потягивая носом, но уже успокоившись, она насыпала коричневых крупных зерен в горло кофейной мельницы и, сжав ее между колен, завертела рукояткой. Сперва шло туго, с хрустом и треском, потом вдруг полегчало.

“Вообрази, Лида, — сказал я, сидя на стуле и болтая ногами, — вообрази, что все, что я тебе рассказываю — выдуманная история. Я сам, знаешь, внушил себе, что это сплошь выдуманная или где-то мной прочитанная история, — единственный способ не сойти от ужаса с ума. Итак: предприимчивый самоубийца и его застрахованный двойник... видишь ли, когда держатель полиса кончает собой, то страховое общество платить не обязано. Поэтому — — ”

“Я сварила очень крепкое, — сказала Лида, — тебе понравится. Да, я слушаю тебя”.

“... поэтому герой этого сенсационного романа требует следующей меры: дело должно быть обставлено так, чтобы получилось впечатление убийства. Я не хочу входить в технические подробности, но в двух словах: оружие прикреплено к дереву, от гашетки идет веревка, самоубийца, отвернувшись, дергает, бах в спину, — приблизительно так”.

“Ах, подожди, — воскликнула Лида, — я что-то вспомнила: он как-то приделал револьвер к мосту... Нет, не так: он привязал к веревке камень... Позволь, как же это было? Да: к одному концу — большой камень, а к другому револьвер, и значит выстрелил в себя... А камень упал в воду, а веревка — за ним через перила, и револьвер туда же, и все в воду... Только я не помню, зачем это все нужно было...”

“Одним словом, концы в воду, — сказал я, — а на мосту — мертвец. Хорошая вещь кофе. У меня безумно болела голова, теперь гораздо лучше. Ну так вот, ты, значит, понимаешь, как это происходит...”

Я пил мелкими глотками огненное кофе и думал: Ведь воображения у нее ни на грош. Через два дня меняется жизнь, неслыханное событие, землетрясение... а она со мной попивает кофе и вспоминает похождения Шерлока...

Я, однако, ошибся: Лида вздрогнула и сказала, медленно опуская чашку:

“Герман, ведь если это все так скоро, нужно начать укладываться. И знаешь, масса белья в стирке... И в чистке твой смокинг”.

“Во-первых, милая моя, я вовсе не желаю быть сожженным в смокинге; во-вторых, выкинь из головы, забудь совершенно и ментально, что нужно тебе что-то делать, к чему-то готовиться и так далее. Тебе ничего не нужно делать по той причине, что ты ничего не знаешь, ровно ничего, — заруби это на носу. Никаких

туманных намеков твоим знакомым, никакой суеты и покупок, — запомни это твердо, матушка, иначе будет для всех плохо. Повторяю: ты еще ничего не знаешь. Послезавтра твой муж поедет кататься на автомобиле и не вернется. Вот тогда-то, и только тогда, начнется твоя работа. Она простая, но очень ответственная. Пожалуйста, слушай меня внимательно:

Десятого утром ты позвонишь Орловиусу и скажешь ему, что я куда-то уехал, не ночевал, до сих пор не вернулся. Спросишь, как дальше быть. Исполнишь все, что он посоветует. Пускай, вообще, он берет дело в свои руки, обращается в полицию и т. д. Главное, постарайся убедить себя, что я, точно, погиб. Да в конце концов это так и будет, — брат мой часть моей души”.

“Я все сделаю, — сказала она. — Все сделаю ради него и ради тебя. Но мне уже так страшно, и все у меня путается”.

“Пускай не путается. Главное — естественность горя. Пускай оно будет не ахти какое, но естественное. Для облегчения твоей задачи я намекнул Орловиусу, что ты давно разлюбила меня. Итак, пусть это будет тихое, сдержанное горе. Вздыхай и молчи. Когда же ты увидишь мой труп, т. е. труп человека, неотличимого от меня, то ты конечно будешь потрясена”.

“Ой, Герман, я не могу. Я умру со страху”.

“Гораздо было бы хуже, если бы ты в мертвецкой стала пудрить себе нос. Во всяком случае, сдержись, не кричи, а то придется, после криков, повысить общее производство твоего горя, и получится плохой театр. Теперь дальше. Предав мое тело огню, в соответствии с завещанием, выполнив все формальности, получив от Орловиуса то, что тебе причитается, и распорядившись деньгами согласно с его указаниями, ты уедешь за границу, в Париж. Где ты в Париже остановишься?”

“Я не знаю, Герман”.

“Вспомни, где мы с тобой стояли, когда были в Париже. Ну?”

“Да, конечно знаю. Отель”.

“Но какой отель?”

“Я ничего не могу вспомнить, Герман, когда ты смотришь так на меня. Я тебе говорю, что знаю. Отель что-то такое”.

“Подскажу тебе: имеет отношение к траве. Как трава по-французски?”

“Сейчас. Эрб. О, вспомнила: Малерб”.

“На всякий случай, если забудешь опять: наклейка отеля есть на черном сундуке. Всегда можешь посмотреть”.

“Ну знаешь, Герман, я все-таки не такая растяпа. А сундук я с собой возьму. Черный”.

“Вот ты там и остановишься. Дальше следует нечто крайне важное. Но сначала все повтори”.

“Я буду печальна. Я буду стараться не очень плакать. Орловиус. Я закажу себе два черных платья”.

“Погоди. Что ты сделаешь, когда увидишь труп?”

“Я упаду на колени. Я не буду кричать”.

“Ну вот видишь, как все это хорошо выходит. Ну, дальше?”

“Дальше, я его похороню”.

“Во-первых, не его, а меня. Пожалуйста, не спутай! Во-вторых, не похороны, а сожжение. Орловиус скажет пастору о моих достоинствах, нравственных, гражданских, супружеских. Пастор в крематорской часовне произнесет прочувствованную речь. Мой гроб под звуки органа тихо опустится в преисподнюю. Вот и все. Затем?”

“Затем — Париж. Нет, постой, сперва всякие денежные формальности. Мне, знаешь, Орловиус надоест хуже горькой редьки. В Париже остановлюсь в отеле — ну вот, я знала, что забуду, — подумала, что забуду, и забыла. Ты меня как-то теснишь... Отель... отель... Малерб! На всякий случай — черный сундук”.

“Так. Теперь важное: как только ты приедешь в Париж, ты меня известишь. Как мне теперь сделать, чтобы ты запомнила адрес?”

“Лучше запиши, Герман. У меня голова сейчас не работает. Я ужасно боюсь все перепутать”.

“Нет, милая моя, никаких записываний. Уж хотя бы потому, что записку все равно потеряешь. Адрес тебе придется запомнить, волей-неволей. Это абсолютно необходимо. Категорически запрещаю его записывать. Дошло?”

“Да, Герман. Но я же не могу запомнить...”

“Глупости. Адрес очень прост. Пострестант. Икс”. — (я назвал город).

“Это там, где прежде жила тетя Лиза? Ну да, это легко вспомнить. Я тебе говорила про нее. Она теперь живет под Ниццей. Поезжай в Ниццу”.

“Вот именно. Значит, ты запомнила эти два слова. Теперь — имя. Ради простоты я тебе предлагаю написать так: Мсье Малерб”.

“Она вероятно все такая же толстая и бойкая. Знаешь, Ардалион писал ей, прося денег, но конечно...”

“Все это очень интересно, но мы говорим о деле. На какое имя ты мне напишешь?”

“Ты еще не сказал, Герман”.

“Нет, сказал, — я предложил тебе: Мсье Малерб”.

“Но как же, ведь это гостиница, Герман?”

“Вот потому-то. Тебе будет легче запомнить по ассоциации”.

“Ах, я забуду ассоциацию, Герман. Это безнадежно. Пожалуйста, не надо ассоциаций. И вообще — ужасно поздно, я устала”.

“Хорошо. Придумай сама имя. Имя, которое ты наверное запомнишь. Ну, хочешь — Ардалион?”

“Хорошо, Герман”.

“Вот великолепно. Мсье Ардалион. Пострестант. Икс. А напишешь ты мне так: Дорогой друг, ты наверное слышал о моем горе и

дальше в том же роде. Всего несколько слов. Письмо ты опустишь сама. Письмо ты опустишь сама. Есть?”

“Хорошо, Герман”.

“Теперь, пожалуйста, повтори”.

“Я, знаешь, прямо умираю от напряжения. Боже мой, половина второго. Может быть, завтра?”

“Завтра все равно придется повторить. Ну-с, пожалуйста, я вас слушаю”.

“Отель Малерб. Я приехала. Я опустила письмо. Сама. Ардалион, пострестант, Икс. А что дальше, когда я напишу?”

“Это тебя не касается. Там будет видно. Ну, что-же, — я могу быть уверен, что ты все это исполнишь?”

“Да, Герман. Только не заставляй меня опять повторять. Я смертельно устала”.

Стоя посреди кухни, она расправила плечи, сильно затрясла откинутой головой и повторила, ероша волосы: “Ах, как я устала, ах...” — и “ах” перешло в зевоту. Мы отправились спать. Она разделась, кидая куда попало платье, чулки, разные свои дамские штучки, рухнула в постель и тотчас стала посвистывать носом. Я лег тоже и потушил свет, но спать не мог. Помню, она вдруг проснулась и тронула меня за плечо.

“Что тебе?” — спросил я с притворной сонливостью.

“Герман, — залепетала она, — Герман, послушай, — а ты не думаешь, что это... жульничество?”

“Спи, — ответил я. — Не твоего ума дело. Глубокая трагедия, — а ты — о глупостях. Спи, пожалуйста”.

Она сладко вздохнула, повернулась на другой бок и засвистала опять.

Любопытная вещь; невзирая на то, что я себя ничуть не оболщал насчет способностей моей жены, тупой, забывчивой и нерасторопной, все же я был почему-то совершенно спокоен, совершенно уверен в том, что ее преданность бессознательно поведет ее по верному пути, не даст ей оступиться и — главное — заставит ее хранить мою тайну. Я уже ясно представлять себе, как, глядя на ее наивно искусственное горе, Орловиус будет опять глубокомысленно сокрушенно качать головой, — и, Бог его знает, быть может подумает: не любовник ли укокошил бедного мужа, — но тут он вспомнит шантажное письмо от неизвестного безумца.

Весь следующий день мы просидели дома, и снова, кропотливо и настойчиво, я заряжал жену, набивал ее моей волей, как вот гуся насильно пичкают кукурузой, чтобы набухла печень, К вечеру она едва могла ходить. Я остался доволен ее состоянием. Мне самому теперь было пора готовиться. Помню, как в тот вечер я мучительно прикидывал, сколько денег взять с собой, сколько оставить Лиде,

мало было гамзы, очень мало. У меня явилась мысль прихватить с собой на всякий случай ценную вещицу, и я сказал Лиде:

“Дай-ка мне твою московскую брошку”.

“Ах да, брошку”, — сказала она, вяло вышла из комнаты, но тотчас вернулась, легла на диван и зарыдала, как не рыдала еще никогда.

“Что с тобой, несчастная?”

Она долго не отвечала, а потом, глупо всхлипывая и не глядя на меня, объяснила, что брошка заложена, что деньги пошли Ардалиону, ибо приятель ему денег не вернул.

“Ну, ладно, ладно, не реви, — сказал я. — Ловко устроился, но слава Богу уехал, убрался, — это главное”.

Она мигом успокоилась и даже просияла, увидя, что я не сержусь, и пошла, шатаясь, в спальню, долго рылась, принесла какое-то колечко, сережки, старомодный портсигар, принадлежавший ее бабушке. Ничего из этого я не взял.

“Вот что, — сказал я, блуждая по комнате и кусая заусеницы, — вот что, Лида. Когда тебя будут спрашивать, были ли у меня враги, когда будут допытываться, кто же это мог убить меня, говори: не знаю. И вот еще что: я беру с собой чемодан, но это конечно между нами. Не должно так казаться, что я собрался в какое-то путешествие, — это выйдет подозрительно. Впрочем — — ” — тут, помнится, я задумался. Странно, — почему это, когда все было так чудесно продумано и предусмотрено, вылезала торчком мелкая деталь, как при укладке вдруг замечаешь, что забыл уложить маленький, но громоздкий пустяк, — есть такие недобросовестные предметы. В мое оправдание следует сказать, что вопрос чемодана был, пожалуй, единственный пункт, который я решил изменить: все остальное шло именно так, как я замыслил давным-давно, может быть много месяцев тому назад, может быть в ту самую секунду, когда я увидел на траве спящего бродягу, точь-в-точь похожего на мой труп. Нет, — подумал я, — чемодана все-таки не следует брать, все равно кто-нибудь да увидит, как несу его вниз.

“Чемодана я не беру”, — сказал я вслух и опять зашагал по комнате.

Как мне забыть утро девятого марта? Само по себе оно было бледное, холодное, ночью выпало немного снега, и швейцары подметали тротуары, вдоль которых тянулся невысокий снеговой хребет, а асфальт был уже чистый и черный, только слегка лоснился. Лида мирно спала. Все было тихо. Я приступил к одеванию. Оделся я так: две рубашки, одна на другую, — причем верхняя, уже ношенная, была для него. Кальсон — тоже две пары, и опять же верхняя предназначалась ему. Засим я сделал небольшой пакет, в который вошли маникюрный прибор и все что нужно для

бритья. Этот пакетик я сразу же, боясь его забыть, сунул в карман пальто, висевшего в прихожей. Далее я надел две пары носков (верхняя с дыркой), черные башмаки, мышинные гетры, — и в таком виде т. е. уже изящно обутый, но еще без панталон, некоторое время стоял посреди комнаты, вспоминая, все-ли так делаю, как было решено. Вспомнив, что нужна лишняя пара подвязок, я разыскал старую и присоединил ее к пакету, для чего пришлось опять выходить в переднюю. Наконец выбрал любимый сиреневый галстук и плотный темно-серый костюм, который обычно носил последнее время. Разложил по карманам следующие вещи: бумажник (около полутора тысяч марок), паспорт, кое-какие незначительные бумажки с адресами, счетами... Спихватился: паспорт было ведь решено не брать, — очень тонкий маневр: незначительные бумажки как-то художественнее устанавливали личность. Еще взял я: ключи, портсигар, зажигалку. Теперь я был одет, я хлопал себя по карманам, я отдувался, мне было жарко в двойной оболочке белья. Оставалось сделать самое главное, — это была целая церемония: медленное выдвигание ящика, где он покоился, тщательный осмотр, далеко впрочем не первый. Он был отлично смазан, он был туго набит... Мне его подарил в двадцатом году в Ревеле незнакомый офицер, — вернее, просто оставил его у меня, а сам исчез. Я не знаю, что случилось потом с этим любезным поручиком.

Между тем Лида проснулась, запахнулась в земляничный халат, мы сели в столовой, Эльза принесла кофе. Когда Эльза ушла: “Ну-с, — сказал я, — день настал, сейчас поеду”.

Маленькое отступление литературного свойства. Ритм этот — нерусский, но он хорошо передает мое эпическое спокойствие и торжественный драматизм положения.

“Герман, пожалуйста, останься, никуда не ездь”, тихо проговорила Лида и, кажется, сложила ладони.

“Ты, надеюсь, все запомнила”, — продолжал я невозмутимо.

“Герман, — повторила она, — не ездь никуда. Пускай он делает все, что хочет, — это его судьба, ты не вмешивайся...”

“Я рад, что ты все запомнила, — сказал я с улыбкой, — ты у меня молодец. Вот, съем еще булочку и двинусь”.

Она расплакалась. Потом высморкалась, громко трубя, хотела что-то сказать, но опять принялась плакать. Зрелище было довольно любопытное: я — хладнокровно мажущий маслом рогульку, Лида — сидящая против меня и вся прыгающая от плача. Я сказал с полным ртом: “По крайней мере, ты сможешь во всеуслышание — (— пожевал, проглотил, —) вспомнить, что у тебя было дурное предчувствие, хотя уезжал я довольно часто и не говорил куда. А враги, сударыня, у него были? Не знаю, господин следователь”.

“Но что же дальше будет?” — тихонько простонала Лида, медленно разводя руками.

“Ну, довольно, моя милая, — сказал я другим тоном. — Поплакала, и будет. И не вздумай сегодня реветь при Эльзе”.

Она утрамбовала платком глаза, грустно хрюкнула и опять развела руками, но уже молча и без слез.

“Все запомнила?” — в последний раз спросил я, пристально смотря на нее.

“Да, Герман. Все. Но я так боюсь...”

Я встал, она встала тоже. Я сказал:

“До свидания, будь здорова, мне пора к пациенту”.

“Герман, послушай, ты же не собираешься присутствовать?”

Я даже не понял.

“То есть как: присутствовать?”

“Ах, ты знаешь, что я хочу сказать. Когда... Ну, одним словом, когда... с этой веревочкой...”

“Вот дура, — сказал я. — А как же иначе? Кто потом все приберет? Да и нечего тебе так много думать, пойдешь в кинематограф сегодня. До-свидания, дура”.

Мы никогда не целовались, — я не терплю слякоти лобзаний. Говорят, японцы тоже — даже в минуты страсти — никогда не целуют своих женщин, — просто им чуждо и непонятно, и может быть даже немного противно это прикосновение голыми губами к эпителию ближнего. Но теперь меня вдруг подтянуло жену поцеловать, она же была к этому неготова: как то так вышло, что я всего лишь скользнул по ее волосам и уже не повторил попытки, а, щелкнув почему-то каблуками, только потрянул ее вялую руку и вышел в переднюю. Там я быстро оделся, схватил перчатки, проверил, взят ли сверток, и уже идя к двери услышал, как из столовой она меня зовет плаксивым и тихим голосом, но я не обратил на это внимания, мне хотелось поскорее выбраться из дому.

Я направился во двор, где находился большой, полный автомобилей гараж. Меня приветствовали улыбками. Я сел, пустил мотор в ход. Асфальтовая поверхность двора была немного выше поверхности улицы, так что при въезде в узкий наклонный туннель, соединявший двор с улицей, автомобиль мой, сдержанный тормозами, легко и беззвучно нырнул.

ГЛАВА IX

Сказать по правде — испытываю некоторую усталость. Я пишу чуть ли не от зари до зари, по главе в сутки, а то и больше. Великая, могучая вещь — искусство. Ведь мне, в моем положении, следовало бы действовать, волноваться, петлится... Прямой опасности нет, конечно, — и я полагаю, что такой опасности никогда не будет, — но все-таки странно — сиднем сидеть и писать, писать, писать, или же подолгу думать, думать, думать, — что в общем то же самое. И чем дальше я пишу, тем яснее становится, что я этого так не оставлю, договорюсь до главного, — и уже непременно, непременно опубликую мой труд, несмотря на риск, — а впрочем и риска-то особенного нет: как только рукопись отошлю, — смоюсь; мир достаточно велик, чтобы мог спрятаться в нем скромный, бородатый мужчина.

Решение труд мой вручить тому густо психологическому беллетристу, о котором я как будто уже упоминал, даже, кажется, обращал к нему мой рассказ, (— давно бросил написанное перечитывать, — некогда да и тошно...) было принято мною не сразу, — сначала я думал, не проще ли всего послать оный труд прямо какому-нибудь издателю, немецкому, французскому, американскому, — но ведь написано-то по-русски, и не все переводимо, — а я, признаться, дорожу своей литературной колоратурой и уверен, что пропади иной выгиб, иной оттенок — все пойдет насмарку. Еще я думал послать его в СССР, — но у меня нет необходимых адресов, — да и не знаю, как это делается, пропустят ли манускрипт через границу, — ведь я по привычке пользуюсь старой орфографией, — переписывать же нет сил... Что переписывать! Не знаю, допишу ли вообще, выдержу ли напряжение, не умру ли от кровоизлияния в мозг...

Решив наконец дать рукопись мою человеку, который должен ею прельститься и приложить все старания, чтобы она увидела свет, я вполне отдаю себе отчет в том, что мой избранник (ты, мой первый читатель), — беллетрист беженский, книги которого в СССР появляться никак не могут. Но для этой книги сделают, быть может, исключение, — в конце концов, не ты ее писал. О, как я лелею надежду, что несмотря на твою эмигрантскую подпись (прозрачная подложность которой ни для кого не останется

загадкой), книга моя найдет сбыт в СССР! Далеко не являясь врагом советского строя, я должно-быть невольно выразил в ней иные мысли, которые вполне соответствуют диалектическим требованиям текущего момента. Мне даже представляется иногда, что основная моя тема, сходство двух людей, есть некое иносказание. Это разительное физическое подобие вероятно казалось мне (подсознательно!) залогом того идеального подобия, которое соединит людей в будущем бесклассовом обществе, — и стремясь частный случай использовать, — я еще социально не прозревший, смутно выполнял все же некоторую социальную функцию. И опять же: неполная удача моя в смысле реализации этого сходства объяснима чисто социально-экономическими причинами, а именно тем, что мы с Феликсом принадлежали к разным, резко отграниченным классам, слияние которых не под силу одиночке, да еще ныне, в период бескомпромиссного обострения борьбы. Правда, мать моя была из простых, а дед с отцовской стороны в молодости пас гусей, — так что мне самому-то очень даже понятно, откуда в человеке моего склада и обихода имеется это глубокое, хотя еще неполное выявленное устремление к подлинному сознанию. Мне грезится новый мир, где все люди будут друг на друга похожи, как Герман и Феликс, — мир Геликсов и Ферманов, — мир, где рабочего, павшего у станка, заменит тотчас, с невозмутимой социальной улыбкой, его совершенный двойник. Посему думаю, что советской молодежи будет небезполезно прочитать эту книгу и проследить в ней, под руководством опытного марксиста, рудиментарное движение заложенной в ней социальной мысли. Другие же народы пушай переводят ее на свои языки, — американцы утолят, читая ее, свою жажду кровавых сенсаций, французам привидятся миражи Содома в пристрастии моем к бродяге, немцы наслаются причудами полуславянской души. Побольше, побольше читайте ее, господа! Я всецело это приветствую.

Но писать ее нелегко. Особенно сейчас, когда приближаюсь к самому, так сказать, решительному действию вся трудность моей задачи является мне — и вот, как видите, я отвиливаю, болтаю о вещах, место коим в предисловии к повести, а не в начале ее самой существенной, для читателя, главы. Но я уже объяснял, что, несмотря на рассудочность и лукавство подступов, не я, не разум мой пишет, а только память моя, только память. Ведь и тогда, то есть в час, на котором остановилась стрелка моего рассказа, я как бы тоже остановился, медлил, как медлю сейчас, — и тогда тоже я занят был путанными рассуждениями, не относящимися к делу, срок которого все близился. Ведь я отправился в путь утром, а свидание мое с Феликсом было назначено на пять часов пополудни; дома мне не сиделось, но куда сбыть мутно-белое время, отделявшее меня от встречи? Удобно, даже сонно, сидя и управляя

как бы одним пальцем, я медленно катил по Берлину, по тихим, холодным, шепчущим улицам, — и все дальше, дальше, покуда не заметил, что я уже из Берлина выехал. День был выдержан в двух тонах, — черном (ветви деревьев, асфальт) и белесом (небо, пятна снега). Все продолжалось мое сонное перемещение. Некоторое время передо мной моталась большая, неприятная тряпка, которую ломовой, везущий что-либо длинное, нацепляет на торчащий сзади конец, — потом это исчезло, завернуло куда-то. Я не прибавил хода. На другом перекрестке выскочил мне наперерез таксомотор, со стоном затормозил и так как было довольно склизко закружился винтом. Я невозмутимо проехал, будто плыл по течению. Дальше, женщина в глубоком трауре наискось переходила мостовую передо мной, не видя меня; я не гукнул, не изменил тихого ровного движения, проплыл в двух вершках от ее крепа, она даже не заметила меня, — беззвучного призрака. Меня обгоняло любое колесо; долго шел, вровень со мной медленный трамвай, и я уголком глаза видел пассажиров, глупо сидевших друг против друга. Раза два я проезжал плохо мощеными местами, и уже появились куры: расправив куцые крылья и вытянув шею, перебежали дорогу (а может быть это было не тогда, а летом). Потом я ехал по длинному, длинному шоссе, мимо жнивьев испещренных снегом, и в совершенно безлюдной местности автомобиль мой как бы задремал, точно из синего сделался сизым, постепенно замер и остановился, и я склонился на руль в неизъяснимом раздумье. О чем я думал? Ни о чем, или о глупостях, я путался, я почти засыпал, я в полуобмороке рассуждал сам с собой о какой-то ерунде, вспоминал какой-то спор, бывший у меня когда-то с кем-то на какой-то станции, о том, можно ли видеть солнце во сне, — и потом мне начинало казаться, что кругом много людей, и все говорят сразу и замолкают, и дав друг другу смутные поручения, беззвучно расходятся. Погодя я двинулся дальше и в полдень, влачась через какую-то деревню, решил там сделать привал, — ибо даже таким дремотным темпом я оттуда добирался до Кенигсдорфа через час не более, а у меня было еще много времени в запасе. Я долго сидел в темном и скучном трактире, совершенно один, в задней какой-то комнате у большого стола, и на стене висела старая фотография: группа мужчин в сюртуках, с закрученными усами, при чем кое-кто из передних принужденно опустил на одно колено, а двое даже прилегли по бокам, и это напоминало русские студенческие фотографии. Я выпил много воды с лимоном и все в том же до неприличия сонном настроении поехал дальше. Помню, что через некоторое время, у какого-то моста, я снова остановился: старая женщина в синих шерстяных штанах, с мешком за плечами, хлопотала над своим поврежденным велосипедом. Я, не выходя из автомобиля, дал ей несколько советов, совершенно впрочем непрошенных и ненужных, а потом

замолчал и, опершись щекой о ладонь, а локтем о руль, долго и бессмысленно смотрел на нее, — она все возилась, возилась, но наконец я перемигнул, и оказалось, что никого уже нет, — она давно уехала. Я двинулся дальше, стараясь помножить в уме два неуклюжих числа, неизвестно что означавших и откуда выплывших, но раз они появились, нужно было их сравнить, — и вот они сцепились и рассыпались. Вдруг мне показалось, что я еду с бешеной скоростью, что машина прямо пожирает дорогу, как фокусник, поглощающий длинную ленту, — и тихо проходили мимо сосны, сосны, сосны. Еще помню: я встретил двух школьников, маленьких бледных мальчиков, с книжками, схваченными ремешком, и поговорил с ними; у них были неприятные птичьи физиономии, вроде как у воронят, и они как будто побаивались меня и, когда я отъехал, долгое время глядели мне вслед, разинув черные рты, — один повыше, другой пониже. И внезапно я очутился в Кенигсдорфе, взглянул на часы и увидел, что уже пять. Проезжая мимо красного здания станции, я подумал, что может быть Феликс запоздал почему-либо и еще не спускался вон по тем ступеням мимо того автомата с шоколадом, — и что нет никакой возможности установить по внешнему виду приземистого красного здания, проходил ли он уже тут. Как бы там ни было, поезд, с которым велено было ему приехать в Кенигсдорф, прибывал в без пяти три, — значит, если Феликс на него не опоздал...

Читатель, ему было сказано, выйти в Кенигсдорфе и пойти на север по шоссе до десятого километра, до желтого столба, — и вот теперь я во весь опор гнал по тому шоссе, — незабываемая минута! Оно было пустынно. Автобус ходит там зимой только дважды в день, — утром и в полдень, — на протяжении этих десяти километров мне навстречу попала только таратайка, запряженная пегой лошастью. Наконец, вдали, желтым мизинцем выпрямился знакомый столб и увеличился, дорос до естественных своих размеров, и на нем была мурмолка снега. Я затормозил и огляделся. Никого. Желтый столб был очень желт. Справа за полем театральной декорацией плоско серел лес. Никого. Я вылез из автомобиля и со стуком сильнее всякого выстрела захлопнул за собою дверцу. И вдруг я заметил, что из-за спутанных прутьев куста, росшего в канаве, глядит на меня усатенький, восковой, довольно веселый —

Поставив одну ногу на подножку автомобиля и как разгневанный тенор хлеща себя по руке снятой перчаткой, я неподвижным взглядом уставился на Феликса. Неуверенно ухмыляясь, он вышел из канавы.

“Ах ты, негодяй, — сказал я сквозь зубы с необыкновенной, оперной силой. — Негодяй и мошенник, — повторил я уже полным голосом, все яростней хлеща себя перчаткой (в оркестре все громыхало промеж взрывов моего голоса), — как ты смел, негодяй,

разболтать? Как ты смел, как ты смел, у других просить советов, хвастать, что добился своего, что в такой-то день на таком-то месте... ведь тебя за это убить мало” — (грохот, бряцание и опять мой голос:) — “Многого ты этим достиг, идиот! Профершпилился, маху дал, не видать тебе ни гроша, болтун!” — (кимвальная пощечина в оркестре).

Так я его ругал, с холодной жадностью следя за выражением его лица. Он был ошарашен, он был искренне обижен. Прижав руку к груди, он качал головой. Отрывок из оперы кончился, и громковещатель заговорил обыкновенным голосом.

“Ну уж ладно, браню тебя просто так, для проформы, на всякий случай... А вид у тебя, дорогой мой, забавный, — прямо грим!”

По моему приказу он отпустил усы; они кажется были даже нафабрены; кроме того, уже по личному своему почину, он устроил себе по две курчавых котлетки. Эта претенциозная растительность меня чрезвычайно развеселила.

“Ты конечно приехал тем путем, как я тебе велел?” — спросил я улыбаясь.

Он ответил:

“Да, как вы велели. А насчет того, чтобы болтать... — сами знаете, я несходчив и одинок”.

“Знаю, и сокрушаюсь вместе с тобой, — сказал я. — А встречные по дороге были?”

“Если кто и проезжал, я прятался в канаву, как вы велели”.

“Ладно. Наружность твоя и так хорошо спрятана. Ну-с, — нечего тут прохлаждаться. Садись в автомобиль. Оставь, оставь, — потом мешок снимешь. Садись скорее, нам нужно отъехать отсюда”.

“Куда?” — полюбопытствовал он.

“Вон в тот лес”.

“Туда?” — спросил он и указал палкой.

“Да, именно туда. Сядешь ли ты когда-нибудь, черт тебя дери!”

Он с удовольствием разглядывал автомобиль. Неспеша влез и сел рядом со мной.

Я повернул руль, медленно двинулись... ух! еще раз: ух! (съехали на поле) — под колесами зашуршал мелкий снег и дряхлые травы. Автомобиль подпрыгивал на кочках, мы с Феликсом — тоже. Он говорил:

“Я без труда с ним справлюсь (гоп). Я уж прокачусь (гоп). Вы не бойтесь, я (гоп-гоп) его не попорчу”.

“Да, автомобиль будет твой. На короткое время (гоп) твой. Но ты, брат, не зевай, посматривай кругом, никого нет на шоссе?”

Он обернулся и затем отрицательно мотнул головой. Мы въехали или вернее вползли в лес. Кузов скрипел и ухал, хвойные ветви мели по крыльям.

Углубившись немного в бор, остановились и вылезли. Уже без вождения неимущего, а со спокойным удовлетворением собственника, Феликс продолжал любоваться лаково-синей машиной. Его глаза подернулись поволокой задумчивости. Вполне возможно, — заметьте, я не утверждаю, а говорю: вполне возможно, — вполне возможно, что мысль его потекла приблизительно так: а что если улизнуть на этой штучке? Ведь деньги я сейчас получу вперед. Притворюсь, что все исполню, а на самом деле укачу далеко. Ведь в полицию он обратиться не может, будет, значит, молчать. А я на собственной машине... — —

Я прервал течение этих приятных дум. “Ну что ж, Феликс, великая минута наступила. Ты сейчас переоденешься и останешься с автомобилем один в лесу. Через полчаса стемнеет, вряд ли кто потревожит тебя. Проночуешь здесь, — у тебя будет мое пальто, — пощупай, какое оно плотное, — то-то же! — да и в автомобиле тепло... выспишься, а как только начнет светать — — впрочем, это потом, сперва давай я тебя приведу в должный вид, а то в самом деле стемнеет. Тебе нужно прежде всего побриться”.

“Побриться? — с глупым удивлением переспросил Феликс. — Как же так? Бритвы у меня с собой нет, и я не знаю, чем можно бриться в лесу, разве что камнем”.

“Нет, зачем камнем; такого разгильдяя как ты следует брить топором. Но я человек предусмотрительный, все с собой принес, и все сам сделаю”.

“Смешно, право, — ухмыльнулся он. — Как же так будет. Вы меня еще бритвой того и гляди зарежете”.

“Не бойся, дурак, — она безопасная. Ну, пожалуйста. Садись куда-нибудь, — вот сюда, на подножку, что-ли”.

Он сел, скинув мешок. Я вытащил пакет и разложил на подножке бритвенный прибор, мыло, кисточку. Надо было торопиться: день осунулся, воздух становился все тусклее. И какая тишина... Тишина эта казалась врожденной тут, неотделимой от этих неподвижных ветвей, прямых стволов, от слепых пятен снега там и сям на земле.

Я снял пальто, чтобы свободнее было оперировать. Феликс с любопытством разглядывал блестящие зубчики бритвы, серебряный стерженек. Затем он осмотрел кисточку, приложил ее даже к щеке, испытывая ее мягкость, — она действительно была очень пушиста, стояла семнадцать пятьдесят. Очень заинтересовала его и тубочка с дорогой мыльной пастой.

“Итак, приступим, — сказал я. — Стрижка-брижка. Садись, пожалуйста, боком, а то мне негде примоститься “.

Набрав в ладонь снегу, я выдавил туда вьющийся червяк мыла, размесил кисточкой и ледяной пеной смазал ему бачки и усы.

Он морщился, ухмылялся, — опушка мыла захватила ноздрю, — он крутил носом, — было щекотно.

“Откинйся, — сказал я, — еще”.

Неудобно упираясь коленом в подножку, я стал сбривать ему бачки, — волоски трещали, отвратительно мешались с пеной; я слегка его порезал, пена окрасилась кровью. Когда я принялся за усы, он зажмурился, но храбро молчал, — а было должно быть не очень приятно, — я спешил, волос был жесткий, бритва дергала.

“Платок у тебя есть?” — спросил я.

Он вынул из кармана какую-то тряпку. Я тщательно стер с его лица кровь, снег и мыло. Щеки у него блестели как новые. Он был выбрит на славу, только возле уха краснела царапина с почерневшим уже рубинчиком на краю. Он провел ладонью по бритым местам.

“Постой, — сказал я. — Это не все. Нужно подправить брови, — они у тебя гуще моих”.

Я взял ножницы и очень осторожно отхватил несколько волосков.

“Вот теперь отлично. А причешу я тебя, когда сменишь рубашку”.

“Вашу дадите?” — спросил он и бесцеремонно пощупал мою шелковую грудь.

“Э, да у тебя ногти не первой чистоты!” — воскликнул я весело.

Я не раз делал маникюр Лиде и теперь без особого труда привел эти десять грубых ногтей в порядок, — причем все сравнивал его руки с моими, — они были крупнее и темнее, — но ничего, со временем побледнеют. Кольца обручального не ношу, так что пришлось нацепить на его руку всего только часики. Он шевелил пальцами, поворачивал, так и сяк кисть, очень довольный.

“Теперь живо. Переоденемся. Сними все с себя, дружок, до последней нитки”.

Феликс крякнул: холодно будет. “Ничего. Это одна минута. Ну-с, поторапливайся”. Осклабясь, он скинул свой куцый пиджак, снял через голову мохнатую темную фуфайку. Рубашка под ней была болотно-зеленая, с галстуком из той же материи. Затем он разулся, сдернул заштопанные мужской рукой носки и жизнерадостно екнул, прикоснувшись босою ступней к зимней земле. Простой человек любит ходить босиком: летом, на травке, он первым делом разувается, но даже и зимой приятно, — напоминает, может быть, детство или что-нибудь такое.

Я стоял поодаль, развязывая галстук, и внимательно смотрел на Феликса.

“Ну, дальше, дальше!” крикнул я, заметив, что он замешкался.

Он не без стыдливой ужимки спустил штаны с белых, безволосых ляжек. Освободился и от рубашки. В зимнем лесу стоял передо мной голый человек.

Необычайно быстро, с легкой стремительностью некоего Фреголи, я разделся, кинул ему верхнюю оболочку моего белья, — пока он ее надевал, ловко вынул из снятого с себя костюма деньги и еще кое-что и спрятал это в карманы непривычно-узких штанов, которые на себя с виртуозной живостью натянул. Его фуфайка оказалась довольно теплой, а пиджак был мне почти по мерке: я похудел за последнее время.

Феликс между тем нарядился в мое розовое белье, но был еще бос. Я дал ему носки, подвязки, но тут заметил, что и ноги его требуют отделки. Он поставил ступню на подножку автомобиля, и мы занялись торопливым педикюром. Боюсь, что он успел простудиться — в одном нижнем белье. Потом он вымыл ноги снегом, как это сделал кто-то у Мопассана, и с понятным наслаждением надел носки.

“Торопись, торопись, — приговаривал я. — Сейчас стемнеет, да и мне пора уходить. Смотри, я уже готов, — ну и башмачища у тебя. А где фуражка? А, вижу, спасибо”.

Он туго затянул ремень штанов. С трудом влез в мои черные шевровые полуботинки. Я помог ему справиться с гетрами и повязать сиреневый галстук. Наконец, при помощи его грязного гребешка, я зачесал назад со лба и с висков его жирные волосы.

Теперь он был готов. Он стоял передо мной, мой двойник, в моем солидном темно-сером костюме, разглядывал себя с глупой улыбкой; обследовал карманы; квитанции и портсигар положил обратно, но бумажник раскрыл. Он был пуст.

“Вы мне обещали вперед”, — заискивающим тоном сказал Феликс.

“Да, конечно, — ответил я, вынув руку из кармана штанов и разжав кулак с ассигнациями. — Вот они. Сейчас отсчитаю и дам тебе. Башмаки не жмут?”

“Жмут, — сказал он. — Здорово жмут. Но уж как-нибудь вытерплю. На ночь я их пожалуй сниму. А куда же мне завтра двинуться с машиной?”

“Сейчас, сейчас... все объясню. Тут надо прибрать, — вишь, разбросал свою рвань. Что у тебя в мешке?”

“Я как улитка. У меня дом на спине! — сказал Феликс. — С собой мешок возьмете? В нем есть колбаса, — хотите?”

“Там будет видно. Засунь-ка туда все эти вещи. Эту тряпку тоже. И ножницы. Так. Теперь надевай пальто, и давай в последний раз проверим, можешь ли ты сойти за меня”.

“Вы не забудете деньги?” — поинтересовался он.

“Да нет же. Вот оболтус. Сейчас расчитаемся. Деньги у меня здесь, в твоём бывшем кармане. Поторопись, пожалуйста”.

Он облачился в мое чудное бежевое пальто, осторожно надел элегантную шляпу. Последний штрих — желтые перчатки.

“Так-с. Пройдись-ка несколько шагов. Посмотрим, как на тебе все это сидит”.

Он пошел мне навстречу, то суя руки в карманы, то вынимая их опять.

Близко подойдя ко мне, расправил плечи, ломаясь, прикидываясь фатом.

“Все-ли, все-ли? — говорил я вслух. — погоди, дай мне хорошенько... Да, как будто все... Теперь повернись. Я хочу видеть, как сзади...”

Он повернулся, и я выстрелил ему в спину.

Я помню разные вещи: я помню, как в воздухе повис дымок, дал прозрачную складку и рассеялся; помню как Феликс упал, — он упал не сразу, сперва закончил движение, еще относившееся к жизни, — а именно почти полный поворот, — хотел вероятно в шутку повертеться передо мной, как перед зеркалом, — и вот, по инерции доканчивая эту жалкую шутку, он, уже насквозь пробитый, ко мне обратился лицом, медленно растопырил руку, будто спрашивая: что это? — и не получив ответа, медленно повалился навзничь. Да, все это я помню, — помню: — шурша на снегу, он начал кобениться, как если б ему было тесно в новых одеждах; вскоре, он замер, и тогда стало чувствительно вращение земли, и только шляпа тихо отделилась от его темени и упала назад, разинувшись, словно за него прощаясь, — или вроде того, как пишут: присутствовавшие обнажили головы. Да, все это я помню, но только не помню одного: звука выстрела. Зато остался у меня в ушах неотвязный звон. Он обволакивал меня, он дрожал на губах. Сквозь этот звон я подошел к трупу и жадно взглянул.

Таинственное мгновение. Как писатель, тысячу раз перечитывающий свой труд, проверяющий, испытывающий каждое слово, уже не знает, хорошо ли, ибо слишком все примелькалось, так и я, так и я. — Но есть тайная уверенность творца, она непогрешима. Теперь, когда в полной неподвижности застыли черты, сходство было такое, что право я не знал, кто убит — я или он. И пока я смотрел, в ровно звеневшем лесу потемнело, — и, глядя на расплывшееся, все тише звеневшее лицо передо мной, мне казалось, что я гляжусь в недвижимую воду.

Боясь испачкаться, я не прикоснулся к телу; не проверил, действительно ли оно совсем, совсем мертвое; я чутьем знал, что это так, что пуля моя скользнула как раз по короткой воздушной колее, проложенной волей и взглядом. Торопиться, торопиться, — кричал Иван Иванович, надевая штаны в рукава. Не будем ему подражать.

Я быстро, но зорко осмотрелся, Феликс все, кроме пистолета, убрал в мешок сам, но у меня хватило самообладания посмотреть, не выронил ли он чего-нибудь, — и даже обмахнуть подножку, где стриг ему ногти. Затем я выполнил кое-что давно замышленное, а именно: выкатил автомобиль к самой опушке, с расчетом, что его утром увидят с дороги и по нему найдут мое тело.

Стремительно надвигалась ночь. Звон в ушах почти смолк. Я углубился в лес, прошел опять недалеко от трупа, но уже не остановился, только подхватил рюкзак, и шагая скоро, уверенно, не чувствуя пудовых башмаков на ногах, обогнул озеро и все лесом, лесом, в призрачном сумраке, в призрачных снегах... но как хорошо я знал направление, как правильно, как живо я представлял себе все это еще тогда, летом, когда изучал тропы, ведущие в Айхенберг!

Я пришел на станцию во время. Через десять минут услужливым привидением явился нужный мне поезд. Половину ночи я ехал в гроыхающем, валком вагоне на твердой скамейке, и рядом со мной двое пожилых мужчин играли в карты, — и карты были необыкновенные, — большие, красно-зеленые, с желудями. За полночь была пересадка; еще два часа езды — уже на запад, — а утром я пересел в скорый. Только тогда, в уборной, я осмотрел содержимое мешка. В нем кроме сунутого давеча, было немного беля, кусок колбасы, три больших изумрудных яблока, подошва, пять марок в дамском кошельке, паспорт и мои к Феликсу письма. Яблоки и колбасу я тут же в уборной съел, письма положил в карман, паспорт осмотрел с живейшим интересом. Странное дело, — Феликс на снимке был не так уж похож на меня, — конечно, это без труда могло сойти за мою фотографию, — но все-таки мне было странно, — и тут я подумал: вот настоящая причина тому, что он мало чувствовал наше сходство; он видел себя таким, каким был на снимке или в зеркале, то есть как бы справа налево, не так, как в действительности. Людская глупость, ненаблюдательность, небрежность, — все это выражалось в том, между прочим, что даже определения в кратком перечне его черт совсем соответствовали эпитетам в собственном моем паспорте, оставленном дома. Это пустяк, но пустяк характерный. А в рубрике профессии он, этот олух, игравший на скрипке вероятно так, как в России играли на гитарах летним вечером лакеи, был назван “музыкантом”, — что сразу превращало в музыканта и меня. Вечером, в пограничном городке, я купил себе чемодан, пальто и так далее, а мешок с его вещами и моим браунингом, — нет, не скажу, что я с ними сделал, как спрятал: молчите, рейнские воды. И уже одиннадцатого марта очень небритый господин в черном пальтишке был заграницей.

ГЛАВА X

Я с детства люблю фиалки и музыку. Я родился в Цвикау. Мой отец был сапожник, мать — прачка. Когда сердилась, то шипела на меня по-чешски. У меня было смутное и невеселое детство. Едва возмужав, я забродяжничал. Играл на скрипке. Я левша. Лицо овальное. Женщин я всегда чуждался: нет такой, которая бы не изменила. На войне было довольно погано, но война прошла, как все проходит. У всякой мыши есть свой дом... Я люблю белок и воробьев. Пиво в Чехии дешевле. О, если б можно было подковать себе ноги в кузнице, — какая экономия! Министры все подкуплены, а поэзия это ерунда. Однажды на ярмарке я видел двух близнецов, — предлагали приз тому, кто их различит, рыжий Фриц дал одному в ухо, оно покраснело, — вот примета! Как мы смеялись... Побои, воровство, убийство, — все это дурно или хорошо, смотря по обстоятельствам. Я присваивал деньги, если они попадались подруку: что взял — твое, ни своих, ни чужих денег не бывает, на гроше не написано: принадлежит Мюллеру. Я люблю деньги. Я всегда хотел найти верного друга, мы бы с ним музицировали, он бы в наследство мне оставил дом и цветник. Деньги, милые деньги. Милые маленькие деньги. Милые большие деньги. Я ходил по дорогам, там и сям работал. Однажды мне попался франт, утверждавший, что похож на меня. Глупости, он не был похож. Но я с ним не спорил ибо он был богат, и всякий, кто с богачом знается, может и сам разбогатеть. Он хотел, чтобы я вместо него прокатился, а тем временем он бы обделал свои шахермахерские дела. Этого шутника я убил и ограбил. Он лежит в лесу. Лежит в лесу, кругом снег, каркают вороны, прыгают белки. Я люблю белок. Бедный господин в хорошем пальто лежит мертвый, недалеко от своего автомобиля. Я умею править автомобилем. Я люблю фиалки и музыку. Я родился в Цвикау. Мой отец был лысый сапожник в очках, мать — краснорукая прачка. Когда она сердилась — —

И опять все сначала, с новыми нелепыми подробностями. Так укрепившееся отражение предъявляло свои права. Не я искал убежища в чужой стране, не я обрастал бородой, а Феликс, убивший меня. О, если б я хорошо его знал, знал близко и давно, мне было бы даже забавно новоселье в душе, унаследованной мною. Я знал бы все ее углы, все коридоры ее прошлого, пользовался бы всеми

ее удобствами. Но душу Феликса я изучил весьма поверхностно, — знал только схему его личности, две-три случайных черты.

С этими неприятными ощущениями я кое-как справился. Трудновато было забыть, например, податливость этого большого мягкого истукана, когда я готовил его для казни. Эти холодные послушные лапы. Дико вспомнить, как он слушался меня! Ноготь на большом пальце ноги был так крепок, что ножницы не сразу могли его взять, он завернулся на лезвие, как жест консервной банки на ключ. Неужто воля человека так могуча, что может обратить другого в куклу? Неужто я действительно брил его? Удивительно! Главное, что мучило меня в этом воспоминании, была покорность Феликса, нелепый, безмозглый автоматизм его покорности. Но повторяю, я с этим справился. Хуже было то, что я никак не мог привыкнуть к зеркалам. И бороду я стал отращивать не столько, чтобы скрыться от других, сколько — от себя. Ужасная вещь — повышенное воображение. Вполне понятно, что человек, как я наделенный такой обостренной чувствительностью, мучим пустяками, — отражением в темном стекле, собственной тенью, павшей убитой к его ногам унд зо вайтер. Стоп, господа, — поднимаю огромную белую ладонь, как полицейский, стоп! Никаких, господа, сочувственных вздохов. Стоп, жалость. Я не принимаю вашего соболезнования, — а среди вас наверное найдутся такие, что пожалеют меня, — непонятого поэта. “Дым, туман, струна дрожит в тумане”. Это не стишок, это из романа Достоевского “Кровь и Слюни”. Пардон, “Шульд унд Зюне”. О каком-либо раскаянии не может быть никакой речи, — художник не чувствует раскаяния, даже если его произведения не понимают. Что же касается страховых тысяч — —

Знаю, знаю, — оплошно с беллетристической точки зрения, что в течение всей моей повести (насколько я помню) почти не уделено внимания главному как-будто двигателю моему, а именно корысти. Как же это я даже толком и не упомянул о том, на что мертвый двойник был мне нужен? Но тут меня берет сомнение, уж так ли действительно владела мною корысть, уж так ли мне было важно получить эту довольно двусмысленную сумму (цена человека в денежных знаках, сильное вознаграждение за исчезновение со света), — или напротив память моя, пишущая за меня, не могла иначе поступить, не могла — будучи до конца правдивой — придать особое значение разговору в кабинете у Орловиуса (не помню, описал ли я этот кабинет).

И еще я хочу вот что сказать о посмертных моих настроениях: хотя в душе-то я не сомневался, что мое произведение мне удалось в совершенстве, т. е. что в черно-белом лесу лежит мертвец, в совершенстве на меня похожий, — я, гениальный новичок,

еще не вкусивший славы, столь же самолюбивый, сколь взыскательный к себе, мучительно жаждал, чтобы скорее это мое произведение, законченное и подписанное девятого марта в глухом лесу, было оценено людьми, чтобы обман — а всякое произведение искусства обман — удался; авторские же, платимые страховым обществом, были в моем сознании делом второстепенным. О да, я был художник бескорыстный.

Что пройдет, то будет мило. В один прекрасный день наконец приехала ко мне за границу Лида. Я зашел к ней в гостиницу, “тише”, сказал я внушительно, когда она бросилась ко мне в объятия, “помни, что меня зовут Феликсом, что я просто твой знакомый”. Траур ей очень шел, как впрочем и мне шел черный артистический бант и каштановая борода. Она стала рассказывать, — да, все произошло так, как я предполагал, ни одной заминки. Оказывается, она искренне плакала в крематории, когда пастор с профессиональными рыданиями в голосе говорил обо мне: “И этот человек, этот благородный человек, который — —” Я поведал ей мои дальнейшие планы и очень скоро стал за ней ухаживать.

Теперь я женился на ней, на вдовушке, живем с ней в тихом живописном месте, обзавелись домиком, часами сидим в миртовом садике, откуда вид на сафирный залив далеко внизу, и очень часто вспоминаем моего бедного брата. Я рассказываю все новые эпизоды из его жизни. “Что-ж — судьба!” — говорит Лида со вздохом, — “по крайней мере он в небесах утешен тем, что мы счастливы”.

Да, Лида счастлива со мной, никого ей не нужно. “Как я рада”, — порою говорит она, — “что мы навсегда избавились от Ардалиона. Я очень жалела его, много с ним возилась, но как человек он был невыносим. Где-то он сейчас? Вероятно совсем спился, бедняга. Это тоже судьба!”

По утрам я читаю и пишу, — кое-что может быть скоро издам под новым своим именем; русский литератор, живущий поблизости, очень хвалит мой слог, яркость воображения.

Изредка Лида получает весточку от Орловиуса, поздравление к Новому Году, например; он неизменно просит ее кланяться супругу, которого не имеет чести знать, а сам думает вероятно: “Быстро, быстро утешилась вдовушка... Бедный Герман Карлович!”

Чувствуете тон этого эпилога? Он составлен по классическому рецепту. О каждом из героев повести кое-что сообщается напоследок, — при чем их житье-бытье остается в правильном, хотя и суммарном соответствии с прежде выведенными характерами их, — и допускается некоторой юмор, намеки на консервативность жизни.

Лида все так же забывчива и неаккуратна...

А уж к самому концу эпилога приберегается особенно добродушная черта, относящаяся иногда к предмету незначительному, мелькнувшему в романе только вскользь: на стене у них висит все

тот же пастельный портрет, и Герман, глядя на него, все так же смеется и бранится.

Финис.

Мечты, мечты... И довольно притом пресные. Очень мне это все нужно...

Вернемся к нашему рассказу. Попробуем держать себя в руках. Опустим некоторые детали путешествия. Помню, прибыв двенадцатого в город Икс (продолжаю называть его Иксом из понятной застенчивости), я прежде всего пошел на поиски немецких газет; кое-какие нашел, но в них еще не было ничего. Я снял комнату в гостинице второго разряда, — огромную, с каменным полом и картонными на вид стенами, на которых словно была нарисована рыжеватая дверь в соседний номер и гуашевое зеркало. Было ужасно холодно, но открытый очаг бутафорского камина был непригоден для топки, и когда сгорели щепки, принесенные горничной, стало еще холоднее. Я провел там ночь, полную самых неправдоподобных, изнурительных видений, — и когда утром, весь колючий и липкий, вышел в переулок, вдохнул приторные запахи, увидел южную базарную суету, то почувствовал, что в самом городе оставаться не в силах. Дрожа от озноба, оглушенный тесным уличным гвалтом, я направился в бюро для туристов, там болтливый мужчина дал мне несколько адресов: я искал место уютное, уединенное, и когда подвечер ленивый автобус доставил меня по выбранному адресу, я подумал, что такое место нашел.

Особняком среди пробковых дубов стояла приличная свиду гостиница, наполовину еще закрытая (сезон начинался только летом). Испанский ветер трепал в саду цыплячий пух мимоз. В павильоне вроде часовни бил ключ целебной воды, и висели паутины в углах темногранатовых окон. Жителей было немного. Был доктор, душа гостиницы и король табльдота, — он сидел во главе стола и разглагольствовал; был горбоносый старик в люстриновом пиджаке, издававший бессмысленное хрюканье, когда с легким топотом быстрая горничная обносила нас форелью, выловленной им из соседней речки; была вульгарная молодая чета, приехавшая в это мертвое место с Мадагаскара; была старушка в кисейном воротничке, школьная инспектриса; был ювелир с большою семьей; была манерная дамочка, которая сперва оказалась виконтессой, потом контессой, а теперь, ко времени, когда я это пишу, превратилась стараниями доктора, делающего все, чтобы повысить репутацию гостиницы, в маркизу; был еще унылый комивояжер из Парижа, представитель патентованной ветчины; был, наконец, хамоватый жирный аббат, все толковавший о красоте какого-то монастыря по-близости и при этом, для пущей выразительности, срывавший с губ, сложенных мясистым сердечком, воздушный поцелуй. Вот

кажется и весь паноптикум. Жукообразный жеран стоял у дверей, заложив руки за спину, и следил исподлобья за церемониалом обеда. На дворе бушевал сильный ветер.

Новые впечатления подействовали на меня благотворно. Кормили неплохо. У меня был светлый номер, и я с интересом смотрел в окно на то, как ветер грубо приподымает и отворачивает исподнюю листву маслин. Вдали лиловато-белым конусом выделялась на беспощадной синеве гора, похожая на Фузияму. Выходил я мало, — меня пугал этот беспрестанный, все сокрушающий, слепящий, наполняющий гулом голову, мартовский ветер, убийственный горный сквозняк. На второй день я все же поехал в город за газетами, и опять ничего не было, и так как это невыносимо раздражало меня, то я решил несколько дней выждать.

За табльдотом я кажется прослыл нелюдимом, хотя старательно отвечал на все вопросы, обращенные ко мне. Тщетно доктор приставал ко мне, чтобы я по вечерам приходил в салон — душную комнатку с расстроенным пианино, плюшевой мебелью и проспектами на круглом столе. У доктора была козлиная бородка, слезящиеся голубые глаза и брюшко. Он ел деловито и неаппетитно. Он желтый зрак яичницы ловко поддевал куском хлеба и целиком с сочным присвистом отправлял в рот. Косточки от жаркого он жирными от соуса пальцами собирал с чужих тарелок, кое-как заворачивал и клал в карман просторного пиджака, и при этом разыгрывал оригинала: это, мол, для бедных собак, животные бывают лучше людей, — утверждение, вызывавшее за столом (длящиеся до сих пор) страстные споры, особенно горячился аббат. Узнав что я немец и музыкант, доктор страшно мною заинтересовался и, судя по взглядам отовсюду обращенным на меня, я заключил, что не столько обросшее мое лицо привлекает внимание, сколько национальность моя и профессия, при чем и в том и в другом доктор усматривал нечто несомненно благоприятное для престижа отеля. Он ловил меня на лестнице, в длинных белых коридорах, и заводил бесконечный разговор, обсуждал социальные недостатки представителя ветчины или религиозную нетерпимость аббата. Все это становилось немного мне в тягость, но по крайней мере развлекало меня. Как только наступала ночь, и по комнате начинали раскачиваться тени листвы, освещенной на дворе одиноким фонарем, — у меня наполнялась бесплодным и ужасным смятением моя просторная, моя нежилая душа. О нет, мертвецов я не боюсь, как не боюсь сломанных, разбитых вещей, чего их бояться! Боялся я, в этом неверном мире отражений, не выдержать, не дожить до какой-то необыкновенной, ликующей, все разрешающей минуты, до которой следовало дожить непременно, минуты творческого торжества, гордости, избавления, блаженства.

На шестой день моего пребывания ветер усилился до того, что гостиница стала напоминать судно среди бурного моря, стекла гудели, трещали стены, тяжкая листва с шумом пятилась и разбежавшись осаждала дом. Я вышел было в сад, но сразу согнулся вдвое, чудом удержал шляпу и вернулся к себе. Задумавшись у окна среди волнующегося гула, я не расслышал гонга и, когда сошел вниз к завтраку и занял свое место, уже подавалось жаркое — мохнатые потроха под томатовым соусом — любимое блюдо доктора. Сначала я не вслушивался в общий разговор, умело им руководимый, но внезапно заметил, что все смотрят на меня.

“А вы что по этому поводу думаете?” — обратился ко мне доктор.

“По какому поводу?” — спросил я.

“Мы говорили, — сказал доктор, — об этом убийстве у вас в Германии. Каким нужно быть монстром, — продолжал он, предчувствуя интересный спор, — чтобы застраховать свою жизнь, убить другого — —”.

Не знаю, что со мной случилось, но вдруг я поднял руку и сказал: “Послушайте, остановитесь...” и той же рукой, но сжав кулак, ударил по столу, так что подпрыгнуло кольцо от салфетки, и закричал, не узнавая своего голоса: “Остановитесь, остановитесь! Как вы смеете, какое вы имеете право? Оскорбление! Я не допущу! Как вы смеете — о моей стране, о моем народе... Замолчать! Замолчать! — кричал я все громче. — Вы... Сметь говорить мне, мне, в лицо, что в Германии... Замолчать!..”

Впрочем все молчали уже давно — с тех пор, как от удара моего кулака покатилося кольцо. Оно докатилось до конца стола, и там его осторожно прихлопнул младший сын ювелира. Тишина была исключительно хорошего качества. Даже ветер перестал, кажется, гудеть. Доктор, держа в руках вилку и нож, замер; на лбу у него замерла муха. У меня заскочило что-то в горле, я бросил на стол салфетку и вышел, чувствуя, как все лица автоматически поворачиваются по мере моего прохождения.

В холле я на ходу сгреб со стола открытую газету, поднялся по лестнице и, очутившись у себя в номере, сел на кровать. Я весь дрожал, подступали рыдания, меня сотрясала ярость, рука была загажена томатовым соусом. Принимаясь за газету, я еще успел подумать: наверное — совпадение, ничего не случилось, не станут французы этим интересоваться, — но тут мелькнуло у меня в глазах мое имя, прежнее мое имя...

Не помню в точности, что я вычитал как раз из той газеты — газет я с тех пор прочел немало, и они у меня несколько спутались, — где-то сейчас валяются здесь, но мне некогда разбирать. Помню, однако, что сразу понял две вещи: знают, кто убил, и не знают,

кто жертва. Сообщение исходило не от собственного корреспондента, а было просто короткой перепечаткой из берлинских газет, и очень это подавалось небрежно и нагло, между политическим столкновением и попугайной болезнью. Тон был неслыханный, — он настолько был неприемлем и непозволителен по отношению ко мне, что я даже подумал, не идет ли речь об однофамильце, — таким тоном пишут о каком-нибудь полудиоте, вырезавшем целую семью. Теперь я впрочем догадываюсь, что это была уловка международной полиции, попытка меня напугать, сбить с толку, но в ту минуту я был вне себя, и каким-то пятнистым взглядом попадал то в одно место столбца, то в другое, — когда вдруг раздался сильный стук. Бросил газету под кровать и сказал: “Войдите!” Вошел доктор. Он что-то дожевывал. “Послушайте, — сказал он, едва переступив порог, — тут какая-то ошибка, вы меня неверно поняли. Я бы очень хотел — — ”

“Вон, — заорал я, — моментально вон”. Он изменился в лице и вышел, не затворив двери. Я вскочил и с невероятным грохотом ее захлопнул. Вытащил из-под кровати газету, — но уже не мог найти в ней то, что читал только что. Я ее просмотрел всю: ничего! Неужели мне приснилось? Я сызнова начал ее просматривать, — это было как в кошмаре, — теряется, и нельзя найти, и нет тех природных законов, которые вносят некоторую логику в поиски, — а все безобразно и бессмысленно произвольно. Нет, ничего в газете не было. Ни слова. Должно-быть я был страшно возбужден и бестолков, ибо только через несколько секунд заметил, что газета старая, немецкая, а не парижская, которую только что держал. Заглянув опять под кровать, я вытащил нужную и перечел плоское и даже пашквильное известие. Мне вдруг стало ясно, что именно больше всего поражало, оскорбительно поражало, меня: ни звука о сходстве, — сходство не только не оценивалось (ну, сказали бы, по крайней мере: да, — превосходное сходство, но все-таки по тем-то и тем-то приметам это не он), но вообще не упоминалось вовсе, — выходило так, что это человек совершенно другого вида, чем я, а между тем, не мог же он ведь за одну ночь разложиться, — напротив, его физиономия должна была стать еще мраморнее, сходство еще резче, — но если бы даже срок был больший, и смерть позабавилась бы им, все равно стадии его распада совпадали бы с моими, — опрометью выражаюсь, черт, мне сейчас не до изящества. В этом игнорировании самого ценного и важного для меня было нечто умышленное и чрезвычайно подлое, — получалось так, что с первой минуты все будто бы отлично знали, что это не я, что никому в голову не могло придти, что это мой труп, и в самой ноншалантности изложения было как бы подчеркивание моей оплошности, — оплошности, которую я конечно ни в коем случае не мог допустить, — а между тем, прикрыв рот и отвернув рыло,

молча, но содрогаясь и лопааясь от наслаждения, злорадствовали, мстительно измывались, мстительно, подло, непереносимо — —

Тут опять постучались, я задохнувшись вскочил, вошли доктор и жеран. “Вот, — с глубокой обидой сказал доктор, обращаясь к жерану и указывая на меня, — вот — этот господин не только на меня зря обиделся, но теперь оскорбляет меня, не желает слушать и весьма груб. Пожалуйста, поговорите с ним, я не привык к таким манерам”.

“Надо объясниться, — сказал жеран, глядя на меня исподлобья. — Я уверен, что вы сами — — ”

“Уходите! — закричал я, топая. — То, что вы делаете со мной... Это не поддается... Вы не смеете унижать и мстить... Я требую, вы понимаете я требую — — ”

Доктор и жеран, вскидывая ладони и как заводные переступая на прямых ногах, затараторили, тесня меня, — я не выдержал, мое бешенство прошло, но зато я почувствовал напор слез и вдруг, — желаящим предоставляю победу, — пал на постель и разрыдался.

“Это все нервы, все нервы”, — сказал доктор, как по волшебству смягчаясь.

Жеран улыбнулся и вышел, нежно прикрыв за собой дверь. Доктор налил мне воды, предлагал бром, гладил меня по плечу, — а я рыдал и, сознавая отлично, даже холодно и с усмешкой сознавая, постыдность моего положения, но вместе с тем чувствуя в нем всю прелесть надрывчика и какую-то смутную выгоду, продолжал трястись, вытирая щеки большим, грязным, пахнувшим говядиной, платком доктора, который, поглаживая меня, бормотал:

“Какое недоразумение! Я, который всегда говорю, что довольно войны... У вас есть свои недостатки, и у нас есть свои. Политику нужно забыть. Вы вообще просто не поняли, о чем шла речь. Я просто спрашивал ваше мнение об одном убийстве”.

“О каком убийстве?” — спросил я всхлипывая.

“Ах, грязное дело, — передел и убил, — но успокойтесь, друг мой, — не в одной Германии убийцы, у нас есть свои Ландрю, слава Богу, так что вы не единственный. Успокойтесь, все это нервы, здешняя вода отлично действует на нервы, вернее на желудок, что сводится к тому же”.

Он поговорил еще немного и встал. Я отдал ему платок.

“Знаете что? — сказал он, уже стоя в дверях. — А ведь маленькая графиня к вам равнодушна. Вы бы сыграли сегодня вечером что-нибудь на рояле (он произвел пальцами трель), уверяю вас, вы бы имели ее у себя в постели”.

Он был уже в коридоре, но вдруг передумал и вернулся.

“В молодые безумные годы, — сказал он, — мы, студенты, однажды кутили, особенно наздрызгался самый безбожный из нас, и

когда он совсем был готов, мы нарядили его в рясу, выбрали круглую плешь, и вот поздно ночью стучимся в женский монастырь, отпирает монахиня, и один из нас говорит: “Ах, сестра моя, поглядите в какое грустное состояние привел себя этот бедный аббат, возьмите его, пускай он у вас выпится”. И представьте себе, — они его взяли. Как мы смеялись! — Доктор слегка присел и хлопнул себя по ляжкам. Мне вдруг показалось — а не говорит ли он об этом (переодели... сошел за другого...) с известным умыслом, не подослан ли он, и меня опять обуяла злоба, но посмотрев на его глупо сиявшие морщины, я сдержался, сделал вид, что смеюсь, он, очень довольный, помахал мне ручкой, и наконец, наконец оставил меня в покое

Несмотря на каррикатурное сходство с Раскольниковым — — Нет, не то. Отставить. Что было дальше? Да: я решил, что в первую голову следует добыть как можно больше газет. Я побежал вниз. На лестнице мне попался толстый аббат, который посмотрел на меня с сочувствием, — я понял по его маслянистой улыбке, что доктор успел всем рассказать о нашем примирении. На дворе меня сразу оглушил ветер, но я не сдался, нетерпеливо прилип к воротам, и вот показался автобус, я замахал и влез, мы покатали по шоссе, где с ума сходила белая пыль. В городе я достал несколько номеров немецких газет и за одно справлялся на почтамте, нет ли письма. Письма не оказалось, но зато в газетах было очень много, слишком много... Теперь, после недели всепоглощающей литературной работы, я исцелился и чувствую только презрение, но тогда холодный издевательский тон газет доводил меня почти до обморока. В конце концов картина получается такая: в воскресенье, десятого марта, в полдень, парикмахер из Кенигсдорфа нашел в лесу мертвое тело; отчего он оказался в этом лесу, где и летом никто не бывал, и отчего он только вечером сообщил о своей находке, осталось неясным. Далее следует тот замечательно смешной анекдот, который я уже приводил: автомобиль, умышленно оставленный мной возле опушки, исчез. По следам в виде повторяющейся буквы “т” полиция установила марку шин, какие-то кенигсдорфцы, наделенные феноменальной памятью, вспомнили, как проехал синий двухместный кабриолет “Икар” на тангентных колесах с большими втулками, а любезные молодцы из гаража на моей улице дали все дополнительные сведения, — число сил и цилиндров, и не только полицейский номер, а даже фабричные номера мотора и шасси. Все думают, что я вот сейчас на этой машине где-то катаюсь, — это упоительно смешно. Для меня же очевидно, что автомобиль мой кто-то увидел с шоссе и не долго думая присвоил, а трупа-то не заметил, — спешил. Напротив — парикмахер, труп нашедший, утверждает, что никакого автомобиля не видал. Он подозрителен, полиции бы, казалось, тут-то его и зацапать, — ведь и не таким рубили головы, —

но как бы не так, его и не думают считать возможным убийцей, — вину свалили на меня сразу, безоговорочно, с холодной и грубой поспешностью, словно были рады меня уличить, словно мстили мне, словно я был давно виноват перед ними, и давно жаждали они меня покарать. Едва ли не загодя решив что найденный труп не я, никакого сходства со мной не заметив, вернее исключив а priori возможность сходства (ибо человек не видит того, что не хочет видеть), полиция с блестящей последовательностью удивилась тому, что я думал обмануть мир, просто одев в свое платье человека, ничуть на меня не похожего. Глупость и явная пристрастность этого рассуждения уморительны. Основываясь на нем, они усомнились в моих умственных способностях. Было даже предположение, что я ненормальный, это подтвердили некоторые лица, знавшие меня, между прочими болван Орловиус (кто еще, — интересно), рассказавший, что я сам себе писал письма (вот это неожиданно!). Что однако совершенно озадачило полицию, это то, каким образом моя жертва (слово “жертва” особенно смаковалось газетами) очутилась в моих одеждах, или точнее, как удалось мне заставить живого человека надеть не только мой костюм, но даже носки и слишком тесные для него полуботинки (обуть то его я мог и постфактум, умники!). Вбив себе в голову, что это не мой труп (т. е. поступив как литературный критик, который, при одном виде книги неприятного ему писателя, решает, что книга бездарна, и уже дальше исходит из этого произвольного положения), вбив себе это в голову, они с жадностью накиннулись на те мелкие, совсем неважные недостатки нашего с Феликсом сходства, которые при более глубоком и даровитом отношении к моему созданию прошли бы незаметно, как в прекрасной книге не замечается описка, опечатка. Была упомянута грубость рук, выискали даже какую-то многозначительную мозоль, но отметили все же аккуратность ногтей на всех четырех конечностях, при чем кто-то, чуть ли не парикмахер, нашедший труп, обратил внимание сыщиков на то, что в силу некоторых обстоятельств, ясных профессионалу (подумаешь!), ногти подрезал не сам человек, а другой.

Я никак не могу выяснить, как держалась Лида, когда вызвали ее. Так как, повторяю, ни у кого не было сомнения, что убитый не я, ее наверное заподозрили в сообщничестве, — сама виновата, могла понять, что страховые денежки тютю, и нечего соваться с вдовьими слезами. В конце концов она вероятно не удержится и, веря в мою невинность и желая спасти меня, разболтает о трагедии моего брата, что будет впрочем совершенно зря, так как без особого труда можно установить, что никакого брата у меня никогда не было, — а что касается самоубийства, то вряд ли фантазия полиции осилит пресловутую веревочку.

Для меня, в смысле моей безопасности, важно следующее: убитый не опознан и не может быть опознан. Меж тем я живу под его именем, кое-где следы этого имени уже оставил, так что найти меня можно было бы в два счета, если бы выяснилось, кого я, как говорится, угробил. Но выяснить это нельзя, что весьма для меня выгодно, так как я слишком устал, чтобы принимать новые меры. Да и как я могу отрешиться от имени, которое с таким искусством присвоил? Ведь я же похож на мое имя, господа, и оно подходит мне так же, как подходило ему. Нужно быть дураком, чтобы этого не понимать.

А вот автомобиль рано или поздно найдут, но это им не поможет, ибо я и хотел, чтобы его нашли. Как это смешно! Они думают, что я услужливо сижу за рулем, а на самом деле они найдут самого простого и очень напуганного вора.

Я не упоминаю здесь ни о чудовищных эпитетах, которыми досужие борзописцы, поставщики сенсаций, негодяи, строящие свои балаганы на крови, считают нужным меня награждать, ни о глубокомысленных рассуждениях психоаналитического характера, до которых охочи фельетонисты. Вся эта мерзость и грязь сначала бесили меня, особенно уподобления каким-то олухам с вампирными наклонностями, проступки которых в свое время поднимали тираж газет. Был, например, такой, который сжег свой автомобиль с чужим трупом, мудро отрезав ему ступни, так как он оказался не по мерке владельца. Да впрочем, черт с ними! Ничего общего между нами нет. Бесило меня и то, что печатали мою паспортную фотографию, на которой я действительно похож на преступника, такая уж злостная ретушевка, а совершенно непохож на себя самого. Право, могли взять другую, например ту, где гляжу в книгу, дорогой нежно-шоколадный снимок; тот же фотограф снял меня и в другой позе, гляжу исподлобья, серьезные глаза, палец у виска, — так снимаются немецкие беллетристы. Вообще, выбор большой. Есть и любительские снимки: одна фоточка очень удачная, в купальном костюме на участке Ардалиона. Кстати, кстати, чуть не забыл: полиция, тщательно производя розыски, осматривая каждый куст и даже роясь в земле, ничего не нашла, кроме одной замечательной штучки, а именно: бутылки с самодельной водкой. Водка пролежала там с июня, — я кажется описал, как Лида спрятала ее... Жалею, что я не запрятал где-нибудь и балалайку, что бы доставить им удовольствие вообразить славянское убийство под чокание рюмочек и пение "Пожалей же меня, дорогая..."

Но довольно, довольно... Вся эта гнусная путаница и чепуха происходит оттого, что по косности своей и тупости и предвзятости, люди не узнали меня в трупе безупречного моего двойника. Принимаю с горечью и презрением самый факт непризнания (чье

мастерство им не было омрачено?) и продолжаю верить в безупречность. Обвинять себя мне не в чем. Ошибки — мнимые — мне навязали задним числом, голословно решив, что самая концепция моя неправильна, и уже тогда найдя пустяшные недочеты, о которых я сам отлично знаю, и которые никакого значения не имеют при свете творческой удачи. Я утверждаю, что все было задумано и выполнено с предельным искусством, что совершенство всего дела было в некотором смысле неизбежно, слагалось как бы помимо моей воли, интуитивно, вдохновенно. И вот, для того, чтобы добиться признания, оправдать и спасти мое детище, пояснить миру всю глубину моего творения, я и затеял писание сего труда.

Ибо, измяв и отбросив последнюю газету, все высосав, все узнав, сжигаемый неотвязным зудом, изощреннейшим желанием тотчас же принять какие-то мне одному понятные меры, я сел за стол и начал писать. Если бы не абсолютная вера в свои литературные силы, в чудный дар — — Сперва шло трудно, в гору, я оставался и затем снова писал. Мой труд, мощно изнуряя меня, давал мне отраду. Это мучительное средство, жестокое средневековое промывание, но оно действует.

С тех пор как я начал, прошла неделя, и вот, труд мой подходит к концу. Я спокоен. В гостинице со мной все любезны и предупредительны. Ем я теперь не за табльдотом, а за маленьким столом у окна. Доктор одобрил мой уход и всем объясняет чуть ли не в моем присутствии, что нервному человеку нужен покой, и что музыканты вообще нервные люди. Во время обеда он часто ко мне обращается со своего места, рекомендуя какое-нибудь кушанье или шутливо спрашивая меня, не присоединюсь ли сегодня в виде исключения к общей трапезе, и тогда все смотрят на меня с большим добродушием.

Но как я устал, как я смертельно устал... Бывали дни, — третьего дня, например, — когда я писал с двумя небольшими перерывами девятнадцать часов подряд, а потом, вы думаете, я заснул? Нет, я заснуть не мог, и все мое тело тянулось и ломалось, как на дыбе. Но теперь, когда я кончаю, когда мне в общем нечего больше рассказать, мне так жалко с этой исписанной бумагой расстаться, — а расстаться нужно, перечесть, исправить, запечатать в конверт и отважно отослать, — а самому двинуться дальше, в Африку, в Азию, все равно куда, но как мне не хочется двигаться, как я жажду покоя... Ведь в самом деле: пускай читатель представит себе положение человека, живущего под таким-то именем не потому, что другого паспорта — —

ГЛАВА XI

30 марта 1931 г.

Я на новом месте: приключилась беда. Думал, что будет всего десять глав, — ан нет! Теперь вспоминаю, как уверенно, как спокойно, несмотря ни на что, я дописывал десятую, — и не дописал: горничная пришла убирать номер, я от нечего делать вышел в сад, — и меня обдало чем-то тихим, райским. Я даже сначала не понял, в чем дело, — но встряхнулся, и вдруг меня осенило: ураганный ветер, дувший все эти дни, прекратился.

Воздух был дивный, летал шелковистый ивовый пух, вечно-зеленая листва прикидывалась обновленной, отливали смуглой краснотой обнаженные наполовину, атлетические торсы пробковых дубов. Я пошел вдоль шоссе, мимо покатых бурых виноградников, где правильными рядами стояли голые еще лозы, похожие на приземистые корявые кресты, а потом сел на траву и, глядя через виноградники на золотую от цветущих кустов макушку холма, стоящего по пояс в густой дубовой листве, и на глубокое-глубокое, голубое-голубое небо, подумал с млеющей нежностью (ибо может быть главная, хоть и тайная, черта моей души — нежность), что начинается новая простая жизнь, тяжелые творческие сны миновали... Вдали, со стороны гостиницы, показался автобус, и я решил в последний раз позабавиться чтением берлинских газет. В автобусе я сперва притворялся спящим (и даже улыбался во сне), заметя среди пассажиров представителя ветчины, но вскоре заснул по-настоящему.

Добыв в Иксе газету, я раскрыл ее только по возвращении домой и начал читать, благодушно посмеиваясь. И вдруг расхохотался во-всю: автомобиль мой был найден.

Его исчезновение объяснилось так: трое молодцов, шедших десятого марта утром по шоссе, — безработный монтер, знакомый нам уже парикмахер и брат парикмахера, юноша без определенных занятий, — завидели на дальней опушке леса блеск радиатора и тотчас подошли. Парикмахер, человек положительный, читвший закон, сказал, что надобно дождаться владельца, а если такового не окажется, отвести машину в Кенигсдорф, но его брат и монтер, оба озорники, предложили другое. Парикмахер возразил, что этого не допустит, и углубился в лес, посматривая по сторонам. Вскоре он

нашел труп. Он поспешил обратно к опушке, зовя товарищей, но с ужасом увидел, что ни их, ни машины нет: умчались. Некоторое время он валандался кругом да около, дожидаясь их. Они не вернулись. Вечером он наконец решился рассказать полиции о своей находке, но из братолюбия скрыл историю с машиной.

Теперь же оказывалось, что те двое, сломав машину, спрятали ее, сами притаились было, но погодя, благоразумно объявились. “В автомобиле”, — добавляла газета, — “найден предмет, устанавливающий личность убитого”.

Сперва я по ошибке прочел “убийцы” и еще пуще развеселился, ибо ведь с самого начала было известно, что автомобиль принадлежит мне, — но перечел и задумался. Эта фраза раздражала меня. В ней была какая-то глупая таинственность. Конечно, я сразу сказал себе, что это либо новая уловка, либо нашли что-нибудь такое же важное, как пресловутая водка. Но все-таки мне стало неприятно, — и некоторое время я даже перебирал в памяти все предметы, участвовавшие в деле (вспомнил и тряпку и гнусную голубую гребенку), и так как я действовал тогда отчетливо, уверенно, то без труда все проследил, и нашел в порядке. Квод эрат демонстрандум.

Но покою у меня не было. Надо было дописать последнюю главу, а вместо того, чтобы писать, я опять вышел, бродил до позднего времени и, придя восвояси, утомленный до последней степени, тотчас заснул, несмотря на смутное мое беспокойство. Мне приснилось, что после долгих, непоказанных во сне, подразумеваемых розысков, я нашел наконец скрывавшуюся от меня Лиду, которая спокойно сказала мне, что все хорошо, наследство она получила и выходит замуж за другого, ибо меня нет, я мертв. Проснулся я в сильнейшем гневе, с безумно бьющимся сердцем, — одурочен! бессилен! — не может ведь мертвец обратиться в суд, — да, бессилен, и она знает это! Очухавшись, я рассмеялся, — приснится же такая чепуха, — но вдруг почувствовал, что и в самом деле есть что-то чрезвычайно неприятное, что смехом стряхнуть нельзя, — и не в сне дело, а в загадочности вчерашнего известия: обнаружен предмет... Если действительно удалось подыскать убитому имя, и если имя это правильное — Тут было слишком много “если”, — я вспомнил, как вчера тщательно проверил плавные, планетные пути всех предметов — мог бы начертить пунктиром их орбиты, — а все-таки не успокоился.

Ища способа отвлечься от расплывчатых, невыносимых предчувствий, я собрал страницы моей рукописи, взвесил пачку на ладони, игриво сказал “ого!” и решил, прежде чем дописать последние строки, все перечесть сначала. Я подумал внезапно, что предстоит мне огромное удовольствие. В ночной рубашке, стоя у стола, я любовно утряхивал в руках шуршащую толщу исписанных страниц. Затем лег опять в постель, закурил папиросу, удобно устроил

подушку под лопатками, — заметил, что рукопись оставил на столе, хотя казалось мне, что все время держу ее в руках; спокойно, не выругавшись, встал и взял ее с собой в постель, опять устроил подушку, посмотрел на дверь, спросил себя, заперта ли она на ключ или нет, — мне не хотелось прерывать чтение, чтобы впускать горничную, когда в девять часов она принесет кофе; встал еще раз — и опять спокойно, — дверь оказалась отпертой, так что можно было и не вставать; кашлянул, лег, удобно устроился, уже хотел приступить к чтению, но тут оказалось, что у меня потухла папироса, — не в пример немецким, французские требуют к себе внимания; куда делись спички? Только что были у меня. Я встал в третий раз, уже с легкой дрожью в руках, нашел спички за чернильницей, а вернувшись в постель, раздавил бедром другой, полный, коробок, спрятавшийся в простынях, — значит опять вставал зря. Тут я вспылил, поднял с пола рассыпавшиеся страницы рукописи, и приятное предвкушение, только что наполнявшее меня, сменилось почти страданием, ужасным чувством, что кто-то хитрый обещает мне раскрыть еще и еще промахи, и только промахи. Все же, заново закурив и оглушив ударом кулака строптивую подушку, я обратился к рукописи. Меня поразило, что сверху не выставлено никакого заглавия — мне казалось, что я какое-то заглавие в свое время придумал, что-то, начинавшееся на “Записки...”, — но чьи записки — не помнил, — и вообще “Записки” ужасно банально и скучно. Как же назвать? “Двойник”? Но это уже имеется. “Зеркало”? “Портрет автора в зеркале”? Жеманно, приторно... “Сходство”? “Непризнанное сходство”? “Оправдание сходства”? — Суховато, с уклоном в философию... Может быть: “Ответ критикам”? Или “Поэт и чернь”? Это не так плохо — надо подумать. Сперва перечтем, сказал я вслух, а потом придумаем заглавие.

Я стал читать, — и вскоре уже не знал, читаю ли или вспоминаю, — даже более того — преображенная память моя дышала двойной порцией кислорода, в комнате было еще светлее оттого, что вымыли стекла, прошлое мое было живее оттого, что было дважды озарено искусством. Снова я взбирался на холм под Прагой, слышал жаворонка, видел круглый, красный газоем; снова в невероятном волнении стоял над спящим бродягой, и снова он потягивался и зевал, и снова из его петлицы висела головкой вниз вялая фиалка. Я читал дальше, и появлялась моя розовая жена, Ардалион, Орловиус, — и все они были живы, но в каком то смысле жизнь их я держал в своих руках. Снова я видел желтый столб и ходил по лесу, уже обдумывая свою фабулу; снова в осенний день мы смотрели с женой, как падает лист навстречу своему отражению, — и вот я и сам плавно упал в саксонский городок, полный странных повторений, и навстречу мне плавно поднялся двойник. И снова я обволакивал его, овладевал им, и он от меня ускользал,

и я делал вид, что отказываюсь от замысла, и с неожиданной силой фабула разгоралась опять, требуя от своего творца продолжения и окончания. И снова, в мартовский день, я сонно ехал по шоссе, и там, в кустах, у столба, он меня уже дожидался:

“... Садись, скорее, нам нужно отъехать отсюда.

“Куда?” — полюбопытствовал он.

“Вон в тот лес”.

“Туда?” — спросил он и указал...

Палкой, читатель, палкой. Палкой, дорогой читатель, палкой. Самодельной палкой с выжженным на ней именем: Феликс такой-то из Цвикау. Палкой указал, дорогой и почтенный читатель, палкой, — ты знаешь, что такое “палка”? Ну вот — палкой, — указал ею, сел в автомобиль и потом палку в нем и оставил, когда вылез: ведь автомобиль временно принадлежал ему, я отметил это “спокойное удовлетворение собственника”. Вот какая вещь — художественная память! Почти всякой другой. “Туда?” — спросил он и указал палкой. Никогда в жизни я не был так удивлен...

Я сидел в постели, выпученными глазами глядя на страницу, на мною же — нет, не мной, а диковинной моей союзницей, — написанную фразу, и уже понимал, как это непоправимо. Ах, совсем не то, что нашли палку в автомобиле и теперь знают имя, и уже неизбежно это общее наше имя приведет к моей поимке, — ах, совсем не это пронзало меня, — а сознание, что все мое произведение, так тщательно продуманное, так тщательно выполненное, теперь в самом себе, в сущности своей, уничтожено, обращено к труху, допущенную мною ошибкой. Слушайте, слушайте! Ведь даже если бы его труп сошел за мой, все равно обнаружили бы палку и затем поймали бы меня, думая, что берут его, — вот что самое позорное! Ведь все было построено именно на невозможности промаха, а теперь оказывается, промах был, да еще какой, — самый пошлый, смешной и грубый. Слушайте, слушайте! Я стоял над прахом дивного своего произведения, и мерзкий голос вопил в ухо, что меня непризнавшая чернь может быть и права... Да, я усомнился во всем, усомнился в главном, — и понял, что весь небольшой остаток жизни будет посвящен одной лишь бесплодной борьбе с этим сомнением, и я улыбнулся улыбкой смертника и тупым, кричащим от боли карандашом быстро и твердо написал на первой странице слово “Отчаяние”, — лучшего заглавия не сыскать.

Мне принесли кофе, я выпил его, но оставил гренки. Затем я наскоро оделся, уложился и сам снес вниз чемодан. Доктор к счастью не видел меня. Зато жеран удивился внезапности моего отъезда и очень дорого взял за номер, но мне было это уже все равно. Я уезжал просто потому, что так принято в моем положении. Я следовал некой традиции. При этом я предполагал, что французская полиция уже напала на мой след.

По дороге в город я из автобуса увидел двух ажанов в быстром, словно мукой обсыпанном автомобиле, — мы скрестились, они оставили облако пыли — но мчались ли они именно за тем, чтобы меня арестовать, не знаю, — да и может быть это вовсе не были ажаны, — не знаю, — они мелькнули слишком быстро. В городе я зашел на почтамт, так, на всякий случай, — и теперь жалею, что зашел, — я бы вполне обошелся без письма, которое мне там выдали. В тот же день я выбрал наудачу пейзаж в щегольской брошюрке и поздно вечером прибыл сюда, в горную деревню. А насчет полученного письма... Нет, пожалуй, я все-таки его приведу, как пример человеческой низости.

“Вот что. Пишу Вам, господин хороший, по трем причинам: 1) Она просила, 2) Собираюсь непременно Вам сказать, что я о Вас думаю, 3) Искренне хочу посоветовать Вам отдаться в руки правосудия, чтобы разьяснить кровавую путаницу и гнусную тайну, от которой больше всего, конечно, страдает она, терроризованная, невиноватая. Предупреждаю Вас, что я с большим сомнением отношусь к мрачной достоевщине, которую Вы изволили ей рассказать. Думаю, мягко говоря, что это вранье. Подлое при этом вранье, так как Вы играли на ее чувствах.

Она просила написать, думая, что Вы еще ничего не знаете, совсем растерялась и говорит, что Вы рассердитесь, если Вам написать. Желал бы я посмотреть, как Вы будете сердиться: это должно быть зверски занятно.

Стало быть, так. Но мало убить человека и одеть в подходящее платье. Нужна еще одна деталь, а именно сходство, но схожих людей нет на свете и не может быть, как бы Вы их ни наряжали. Впрочем, до таких тонкостей не дошло, да и началось то с того, что добрая душа честно ее предупредила: нашли труп с документами Вашего мужа, но это не он. А страшно вот что: наученная подлецом, она, бедняжка, еще прежде — понимаете-ли Вы это? — еще прежде, чем ей показали тело, утверждала вопреки всему, что это именно ее муж. Я просто не понимаю, каким образом Вы сумели вселить в нее, в женщину совсем чуждую Вам, такой священный ужас. Для этого надо быть действительно незаурядным чудовищем. Бог знает, что ей еще придется испытать. Нет, — Вы обязаны снять с нее тень сообщничества. Дело же само по себе ясно всем. Эти шуточки, господин хороший, со страховыми обществами давным-давно известны. Я бы даже сказал, что это халтура, банальщина, давно набившая оскомину.

Теперь — что я думаю о Вас. Первое известие мне попало в городе, где я застрял. До Италии не доехал и слава Богу. И вот, прочтя это известие, я знаете что? не удивился! Я всегда ведь знал, что Вы грубое и злое животное, и не скрыл от следователя

всего, что сам видел. Особенно, что касается Вашего с ней обращения, этого Вашего высокомерного презрения, и вечных насмешек, и мелочной жестокости, и всех нас угнетавшего холода. Вы очень похожи на большого страшного кабана с гнилыми клыками, напрасно не нарядили такого в свой костюм. И еще в одном должен признаться Вам: я, слабовольный, я, пьяный, я, ради искусства готовый продать свою честь, я Вам говорю: мне стыдно, что я от Вас принимал подачки, и этот стыд я готов обнародовать, кричать о нем на улице, только бы отделаться от него.

Вот что, кабан! Такое положение длиться не может. Я желаю Вашей гибели не потому, что Вы убийца, а потому, что Вы подлейший подлец, воспользовавшийся наивностью доверчивой молодой женщины, и так истерзанной и оглушенной десятилетним адом жизни с Вами. Но если в Вас еще не все померкло: объявитесь!”

Следовало бы оставить это письмо без комментариев. Безпристрастный читатель предыдущих глав видел, с каким добродушием и доброхотством я относился к Ардалиону, а вот как он мне отплатил. Но все равно, все равно... Я хочу думать, что писал он эту мерзость в пьяном виде, уж слишком все это безобразно, бьет мимо цели, полно клеветнических утверждений, абсурдность которых тот же внимательный читатель поймет без труда. Назвать веселую, пустую, недалекую мою Лиду запуганной или как там еще — истерзанной, — намекать на какой-то раздор между нами, доходящий чуть ли не до мордобоя, это уже извините, это уже я не знаю, какими словами охарактеризовать. Нет этих слов. Корреспондент мой все их уже использовал, в другом, правда, применении. Я, перед тем полагавший, что уже перевалил за последнюю черту возможных страданий, обид, недоумений, пришел в такое состояние, перечитывая это письмо, меня такая одолела дрожь, что все кругом затряслось, — стол, стакан на столе, даже мышеловка в углу новой моей комнаты.

Но вдруг я хлопнул себя по лбу и расхохотался. Как это было просто! Как просто разгадывалось таинственное неистовство этого письма. Это — неистовство собственника: Ардалион не может мне простить, что я шифром взял его имя, и что убийство произошло как раз на его участке земли. Он ошибается, все давно обанкротились, неизвестно кому принадлежит эта земля, и вообще — довольно, довольно о шуте Ардалионе! Последний мазок на его портрет наложен, последним движением кисти я наискось в углу подписал его. Он получше будет той подкрашенной дохлятины, которую этот шут сотворил из моей физиономии. Баста! Он хорош, господа.

Но все-таки, как он смеет... Ах, к черту, к черту, все к черту!

31 марта, ночью.

Увы, моя повесть вырождается в дневник. Но ничего не поделаешь: я уже не могу обойтись без писания. Дневник, правда, самая низкая форма литературы. Знатоки оценят это прелестное, будто бы многозначительное “ночью”, — ах ты — “ночью”, смотри какой, писал ночью, не спал, какой интересный и томный! Но все-таки я пишу это ночью.

Деревня, где я скучаю, лежит в люльке долины, среди высоких и тесных гор. Я снял большую, похожую на сарай, комнату в доме у смуглой старухи, держащей внизу бакалейную. В деревне одна всего улица. Я бы долго мог описывать местные красоты, — облака, например, которые проползают через дом из окна в окно, — но описывать все это чрезвычайно скучно. Меня забавляет, что я здесь единственный турист, да еще иностранец, а так как успели как то разнюхать (впрочем, я сам сказал хозяйке), что я из Германии, то возбуждаю сильное любопытство. Мне бы скрываться, а я лезу в самое, так сказать, видное место, трудно было лучше выбрать. Но я устал; чем скорее все это кончится, тем лучше.

Сегодня, кстати, познакомился я с местным жандармом, — совершенно опереточный персонаж! Это довольно пухлый розовый мужчина, ноги хером, фатоватые черные усики. Я сидел на конце улицы на скамейке, и кругом поселяне занимались своим делом, т. е. притворялись, что занимаются своим делом, а в сущности с неистовым любопытством, в каких бы позах они ни находились, из-за плеча, из подмышки, из-под колена следили за мной, — я это отлично видел. Жандарм нерешительно подошел ко мне, заговорил о дожде, потом о политике. Он кое-чем напомнил мне покойного Феликса, — солидным тоном, мудростью самоучки. Я спросил, когда тут последний раз арестовали кого-нибудь. Он подумал и ответил, что это было шесть лет тому назад, — задержали испанца, который с кем-то повздорил не без мокрых последствий и скрылся в горах. Далее он счел нужным сообщить мне, что в горах есть медведи, которых искусственно там поселили для борьбы с волками, — что показалось мне очень смешным. Но он не смеялся, он стоял, меланхолично покручивая левый ус правой рукой и рассуждал о современном образовании:

“Вот, например, я, — говорил он, — я знаю географию, арифметику, военное дело, пишу красивым почерком...” Я спросил: “А на скрипке играете?” Он грустно покачал головой.

Сейчас, дрожа в студеной комнате, проклиная лающих собак, ожидая, что в углу с треском хлопнет мышеловка, отхватив мыши голову, машинально попивая вербеновую настойку, которую хозяйка, считая, что у меня хворый вид и боясь вероятно, что умру до суда, вздумала мне принести, я сижу, и вот пишу на этой клетчатой школьной бумаге, другой было здесь не найти, — и задумываюсь, и опять посматриваю на мышеловку. Зеркала, слава Богу,

в комнате нет, как нет и Бога, которого славлю. Все темно, все страшно, и нет особых причин медлить мне в этом темном, зря выдуманном мире. Убить себя я не хочу, это было бы не экономно, — почти в каждой стране есть лицо, оплачиваемое государством, для исполнения смертной услуги. И затем — раковинный гул вечного небытия. А самое замечательное, что все это может еще продлиться, — т. е. не убьют, а сошлют на каторгу, и еще может случиться, что через пять лет подойду под какую-нибудь амнистию и вернусь в Берлин, и буду опять торговать шоколадом. Не знаю, почему, — но это страшно смешно.

Предположим, я убил обезьяну. Не трогают. Предположим, что это обезьяна особенно умная. Не трогают. Предположим, что это — обезьяна нового вида, говорящая, голая. Не трогают. Осмотрительно поднимаясь по этим тонким ступеням, можно добраться до Лейбница или Шекспира и убить их, и никто тебя не тронет, — так как все делалось постепенно, неизвестно, когда перейдена грань, после которой софисту приходится худо.

Лают собаки. Холодно. Какая смертельная, невылазная мука. Указал палкой. Палка, — какие слова можно выжать из палки? Пал, лак, кал, лампа. Ужасно холодно. Лают, — одна начнет, и тогда подхватывают все. Идет дождь. Электричество хилое, желтое. Чего я, собственно говоря, натворил?

1-го апреля.

Опасность обращения моей повести в худосочный дневник к счастью рассеяна. Вот сейчас заходил мой опереточный жандарм, деловитый, при сабле, и не глядя мне в глаза, учтиво попросил мои бумаги. Я ответил, что все равно намерен на-днях прописаться, а что сейчас не хочу вылезать из постели. Она настаивал, — был вежлив, извинялся, но настаивал. Я вылез и дал ему паспорт. Уходя, он в дверях обернулся и все тем же вежливым голосом попросил меня сидеть дома. Скажите, пожалуйста!

Я подкрался к окну и осторожно отвел занавеску. На улице стоят зеваки, человек сто; и смотрят на мое окно. В толпе пробирается мой жандарм, его о чем-то рьяно спрашивает господин в котелке набекрень, любопытные их затеснили. Лучше не видеть.

Может быть, все это — лжебытие, дурной сон, и я сейчас проснусь где-нибудь — на травке под Прагой. Хорошо по крайней мере, что затравили так скоро.

Я опять отвел занавеску. Стоят и смотрят. Их сотни, тысячи, миллионы. Но полное молчание, только слышно, как дышат. Отворить окно, пожалуй, и произнести небольшую речь.

Оглавление

ГЛАВА I	1
ГЛАВА II	10
ГЛАВА III	22
ГЛАВА IV	30
ГЛАВА V	38
ГЛАВА VI	54
ГЛАВА VII	63
ГЛАВА VIII	71
ГЛАВА IX	85
ГЛАВА X	95
ГЛАВА XI	107